

Лев
Рубинштейн
Словарный
запас

CAIO
INSTITUTE

НОВОЕ издательство

«Словарный запас»: Новое издательство; М.; 2008
ISBN 978-5-98379-112-1

Аннотация

Книга «Словарный запас» представляет своего рода словарь современной политической культуры, в котором статьи поэта и эссеиста Льва Рубинштейна иллюстрируют ключевые понятия общественной жизни сегодняшней России.

Лев Семенович Рубинштейн Словарный запас

Азбучные истины От редакторов

– Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.

– Да ведь он голый! – закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

– Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! – сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

– Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он совсем не одет! – закричал наконец весь народ.

Эти строки Андерсена могли бы стать эпиграфом к настоящей книге, объединившей эссе Льва Рубинштейна, которые публиковались им в последние годы на сайте Грани. Ру. Мы расположили эти тексты не в хронологическом порядке, который читатель легко восстановит с помощью собственной памяти или Интернета, а в виде своеобразного словаря современной политической культуры, толкующего ключевые понятия сегодняшней общественной жизни (вынесенные нами в дополнительные «надзаголовки»). Но дело не только в том, что статьи Рубинштейна посвящены самым разным событиям и темам, близки по объему и отстоят друг от друга на более-менее схожие промежутки времени, образуя тем самым объемную картинку эпохи. Сама природа этих текстов связана со словарной формой, предполагающей разговор «без кавычек», разговор, в котором вещи называются своими именами.

Предъявленная в этих эссе авторская стратегия, на первый взгляд, ритительно отличается от того, что Рубинштейн делал в своих поэтических

текстах, давно ставших классикой русской словесности. Воспроизводящая или имитирующая обрывки разговоров, речевые и интонационные клише, в советскую эпоху поэтическая речь Рубинштейна решительно избегала прямого высказывания, обсуждения «текущего момента» и была предельно далека от публицистического пафоса. В новейшее время уже сам Рубинштейн стал публицистом, говорящим о само собой разумеющихся, казалось бы, вещах: человек важнее государства, насилие не имеет оправданий, истинный патриотизм не бывает показным...

Но это мнимая метаморфоза. Изменился не Рубинштейн – изменилась эпоха, и в новых исторических обстоятельствах автор находит другой способ разговора, который опять ставит его в привычные условия сопротивления материалу – общим местам языка и общественного сознания. В позднесоветские годы таким способом была речь, в которой не находилось места для авторского «Я»: возможность прямого высказывания была скомпромитирована разлитой в воздухе фальшью лозунгов и передовиц. Сегодня, когда лозунги сменились всеобщим безразличием и апатией, иронией и отстранением, – это существующая где-то между мемуарным очерком, письмом к другу и тостом литература прямого высказывания, ставшего вдруг дефицитом, это синтаксис без извинительных вводных слов, пунктуация без скобок с оговорками, лексика без уже упоминавшихся кавычек. Напоминание об азбучных истинах, генеалогия которого восходит к андерсеновской сказке о платье короля. У Андерсена произнести вслух простые и честные слова решился только маленький мальчик. Сегодня в схожей ситуации их произносит взрослый человек, к тому же – замечательный писатель. Нам остается его услышать.

[Аполитичность] Ни слова о политике

Именно так было начертано на самодельном плакате, в течение нескольких лет провисевшем на стене в мастерской моего друга, художника. Это было в 70-е годы. Друг мой не то чтобы особенно боялся. То есть, разумеется, чуть-чуть не без этого: человек он был общительный, и в мастерской его постоянно ошивалась всякая публика, иногда совершенно случайная. Но главное было в другом: политика и разговоры о ней казались ему невыносимо скучными и никчемными.

Надо ли говорить о том, что его призыв если и достигал какой-либо цели, то скорее обратной. И дело не только в том, что любой разговор рано или поздно обязательно сворачивал на что-нибудь «этакое». Дело, главным образом, было в том, что манифестируемая моим товарищем аполитичность как раз и была самой что ни есть политикой. В те времена, когда каждая, казалось, молекула несла в себе мощный идеологический заряд, любой человеческий жест воспринимался как жест либо «за», либо «против». А слово «аполитичный» было чуть смягченным синонимом слова «антисоветский». Фраза «аполитично рассуждаете,

гражданин» звучала довольно-таки зловеще. Знакомый рассказывал, как однажды его вызвали в школу, где училась его дочь. Завуч среди прочего говорила: «Понимаете, не знаю даже, как сказать поточнее. Но вот у вашей Кати выражение лица часто бывает какое-то несоветское». Сегодня объяснить, что значит «несоветское выражение лица», практически невозможно. А тогда это было очень даже понятно.

Но мы политикой не интересовались, и это было сознательной позицией. Именно аполитичность и была пусть и пассивным, но сопротивлением. Это четко осознавали мы, и это четко осознавали «они», видя наши «несоветские выражения лиц».

Впрочем, все это было давно. А теперь, как известно, – другие времена. Совсем другие, уже хотя бы потому, что упомянутая мною ситуация с аполитичностью советских лет развернулась буквально на 180 градусов. «Ни слова о политике» – это главный лозунг теперешней государственной идеологии. А другого – нет и быть не может. Ибо нынешняя власть испытывает огромный, зияющий дефицит идеологии. То есть похоже на то, что у нынешней власти никакой идеологии нет вообще, а потому ее риторика являет собою малосъедобную кашу из взаимоисключающих компонентов – от ультралиберальных и рыночных до державно-имперских. Поэтому именно аполитичность – это нынешний мейнстрим, сознательно и целенаправленно поощряемый и культивируемый кремлевским агитпропом. Аполитичность – это, если угодно, и есть сегодняшний конформизм.

В далекие советские времена высказывание Бертольта Брехта о том, что «для искусства беспартийность означает принадлежность к господствующей партии», казалось мне верхом упертости и нелепости. Сегодня эта фраза звучит совсем по-другому. Нормально звучит. Во всяком случае, есть о чем подумать.

Да, я продолжаю полагать, что политика неинтересна, тупа и безрадостна. Особенно в периоды «стабильности», когда она является нам в виде таких искрометных телезрелищ, как душевные беседы главы государства с выпускниками военных академий. Но получается, что официальная, гламурная, лоснящаяся аполитичность еще тупее и куда позорнее.

Всегда были люди, – есть они и теперь, – умевшие читать партийные газеты между строк. Умевшие с большой степенью вероятности предсказывать новые назначения или изгнания по тому, кто с кем рядом стоял на Мавзолее или в каком порядке перечислялись имена тех, кто «встречали высокого гостя». Мой приятель, политический журналист с довольно сильным филологическим бэкграундом уверял, что драматургия кивков, шепотков и переглядываний в «коридорах власти» не менее захватывающая, чем Шекспир или Достоевский.

Не знаю, все может быть. Но я этим языком не владею, и мне он неинтересен.

Но бывает так, что ты вдруг зачем-то понадобишься политике, и она

начинает говорить с тобой на твоём языке. Обычно это бывает раз в четыре года, когда тебя начинают кормить демьяновой ухой, когда назойливо зовут к столу, покрытому аккуратной скатеркой. Когда тебе вручают какую-то бумажку и показывают, в какую щелку её совать. Ну вот, говорят тебе, спасибо за внимание. Извините, говорят, что побеспокоили. Завтра, говорят, у нас новая жизнь. «А у нас?» – тревожно интересуешься ты. Но тебя уже не слушают. Все, все, проходи, мешаешь, иди домой – мы там тебе сатиру-юмор-мультики включили. Будет надо – позовем.

А иногда политика начинает так заниматься лично тобой, что ты вскакиваешь и несешься к радиоприемнику, или ныряешь с головой в мутную зыбь Интернета, или – пуще того – выбегаешь на улицу, размахивая лоскутом мануфактуры соответствующего случаю размера и расцветки во вкусу и сезону.

Политикой я не интересуюсь. Но что считать политикой? Если политика – это когда участковый рвется в твою квартиру с целью «проверки паспортного режима», то не интересоваться этим довольно затруднительно. Если политика – это захват заложников, взрывы домов, бомбардировки городов и зачистки сел, то не замечать это – есть безусловный признак социального аутизма.

А если политика – это отчетный доклад генерального секретаря на очередном съезде, то нормальный человек хотя бы из чувства умственной гигиены плотно закроет глаза и уши. И если политика – это совокупность и взаимодействие разного рода шкурных интересов разного рода лиц, называемых «политиками», то вот это – уж извините – к нормальному человеку отношения иметь не может.

Впрочем, не только слово «политика» требует разъяснений. Что подразумевается под понятием «нормальный человек», тоже не вполне понятно. Всегда хочется думать, что это ты и такие, как ты. Такое определение в силу предельной субъективности довольно зыбко. Но другого-то все равно нет.

[Большинство] Большинство подождет

Нашел среди своих старых записей пару абзацев, заготовленных уж не помню для какого случая. Так получается, что именно для этого случая. Фрагмент не датирован, но по его тональности можно примерно определить, что написан он года четыре тому назад. Вот он.

Что-то стало происходить в последнее время. Какие-то стали намечаться тонкие, но заметные трещинки на поверхности того общественного организма, которое принято называть «культурным сообществом». Либеральные ценности лишь в последние годы стали кое-как утверждаться в несбалансированном общественном сознании. С одной стороны, власть по традиции пытается все держать под своей опекой и под своим контролем. С другой стороны –

невиданная свобода. Свобода немислима без чувства ответственности. А с этим-то как раз большие проблемы. Когда часть интеллектуального сообщества стала воспринимать идеи либерализма как что-то скучное, рутинное, лишенное креативной энергии – это знак того, что либерализм все-таки усвоен или что он хотя бы пустил корни. Но корни эти, мягко говоря, недостаточно глубоки для того, чтобы игры «одаренных натур» то в умозрительную фашизоидность, то в стилизованную ностальгию по «великой державе» воспринимались как вполне невинные. Но что же делать, если у нас действительно «особый путь»? И действительно любые идеи, в том числе и художественные, обладают удивительной способностью мутировать в идеологию.

Надо же! – подумал я. – Это же совсем недавно. Какие же это, оказывается, были еще идиллические времена. Еще и понятие «культурное сообщество» существовало тогда. И само «сообщество» не стало еще анахронизмом. И слово «свобода» писалось и произносилось тогда еще без кавычек. И многочисленные участники разговора еще спорили, а не ругались. А если и ругались, то все равно на взаимопонятном языке. И, даже ругаясь, исходили из некоторого набора общих для всех аксиом.

Теперь упомянутые мною «тонкие, но заметные трещинки» незаметно для глаза превратились в зияющие расщелины. Недавние собеседники и оппоненты превратились в «идеологических противников». А остервенение, одичание, особачивание полемического дискурса стало рутинной нормой. И не какие-нибудь альтернативно одаренные селигерские тинейджеры, а люди, вроде бы образованные и искушенные, совсем перестали стесняться и легко обходятся без стыдливых кавычек, употребляя такие выражения, как «пятая колонна», «враги государства», «малый народ» или «интересно, сколько тебе заплатили за...».

Не только перестали стесняться, но и наполнились сладострастной горделивостью от полного своего отождествления с властью. Подобно маленьким шпанятам моего детства, льнушим к пацанам постарше, особенно к тем, у кого перо в кармане, а также «кепка набок и зуб золотой», им хочется прислониться к силе. Некоторые из них окончательно поплыли рассудком после того, как им дали потрогать бицепсы у одного дзюдоиста.

Они стали говорить «мы». Ну что же. Когда я слышу что-нибудь вроде «наших стратегических интересов», «наших военных достижений», «наших цен на наши энергоресурсы» или «нашего симметричного ответа зарвавшимся ат-лантистам», мне хочется спросить: «Так это все вы, ребята? Это вы, оказывается, поубивали столько народу в своей собственной стране? Это вы обнимались с Риббентропом? Это вы переселяли целые народы с места на место? Это вы, что ли, раздавили танками Пражскую весну? А тысячи мальчиков были отправлены на верную гибель в Афган и Чечню тоже вами? Это вы все эти

годы только и делали, что ввали, подличали и хапали все, что плохо лежит. Что хорошо лежит – тоже хапали. Все это вы?» Ответ знаю. Это не вы, разумеется, – как можно. А вы, видимо, это те, кто победил в самой страшной войне, кто вывел на околоземную орбиту Белку со Стрелкой и кто написал «Ленинградскую симфонию» и «Доктора Живаго». Ни то ни другое – не вы. Так что не надо «мыкать».

А еще немыслимая для интеллектуала апелляция к большинству. С каких это пор, господа, статистическое большинство стало в вашем представлении «народом», а критически мыслящее меньшинство – едва ли не врагом этого самого «народа»? «У нынешней власти поддержка большинства населения», – говорят они. Ну и аргумент, скажу я вам. Ну и что, что поддержка большинства? У любой власти поддержка большинства. На то она и власть. На то оно и большинство. А то, что у «власти козлиной козлят миллионы», я знаю давно, с ранней юности. Столь же давно я знаю горькую и беспощадную чеховскую цитату о том, что «дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума». Так было во все времена и во всех, кстати, странах и континентах.

И вот еще касательно «большинства». Некоторые восточные сказки заканчиваются неким элегантным эвфемизмом. Герой такой сказки после того, как он победил всех многочисленных врагов и преодолел все препятствия, «жил долго и счастливо, пока не присоединился к большинству».

Не знаю, кто как, но я присоединиться к большинству не спешу. Ни в том, ни в каком другом смысле. Чего и вам желаю.

[Выборы] Отдать голос?

Неправильно полагать весь советский период стилистически однородным. Нет, многое менялось, причем существенно. Стилистически видоизменялись официальная риторика, символика, иконография.

Не менялась лишь – во всяком случае, по моим ощущениям – стилистика избирательных кампаний. Не менялась десятилетиями. Похоже, что агитпропу недосуг было уделять внимание такому ничтожному предмету, как выборы, постепенно ставшие рудиментарным отростком советского бытия, бледным ритуалом, изначальная абсурдность которого с годами становилась все очевиднее и нагляднее. Одни и те же плакаты, где представители всех слоев новой общности советских людей – мускулистый блондин в синем комбинезоне (рабочий класс), румяная обветренная молодуха (колхозное крестьянство), дядька в двубортном костюме, в очках и при галстуке (трудовая интеллигенция) – в едином патриотическом порыве голосуют за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Один и тот же мутноватый портрет насупленного мужчины – кандидата в депутаты в местные или не местные Советы. А под типовым

портретом – типовая биография представителя славной рабочей династии: «Совсем еще зеленым пареньком придя на родной завод... Зорко охраняя рубежи нашей Родины... Пройдя нелегкий путь от простого слесаря до сменного мастера...» Десятилетиями не менялось оформление агитпункта. Над его дверями всегда висел выцветший кумачовый прямоугольник с надписью «Избирательный участок номер такой-то», украшенный по периметру электрическими лампочками. Что-то елочное было в этих лампочках, что-то трогательно старомодное – видимо, привет из далеких 20-х годов, когда до электрификации всей страны было еще дальше, чем до коммунизма, а вот на электрификацию отдельно взятого избирательного участка в отдельно взятом сельском клубе лампочек кое-как хватало.

По поводу советской избирательной системы существовало множество шуток. Ну, не в сталинские, конечно, годы – там, пожалуй, пошутить. А вот при Хрущеве, помню, такой был, например, анекдот. Сотворив из Адамова ребра Еву, Бог ставит ее перед Адамом и говорит: «Ну вот, Адам, выбирай себе жену». Так шутили над однопартийной системой. А еще было малоприличное двустипшие «Голосуй, не голосуй. Все равно получишь понятно что». Кстати, этот бодрый слоган отличным образом дожил до сегодняшних дней, ничуть не утратив своего вечнозеленого очарования.

Голосовать, впрочем, исправно ходили. Вставали в воскресенье с утра пораньше, принаряжались, шли семьями в ближайшую школу, где и размещался избирательный участок, деловито исполняли гражданский долг и степенно разбредались кто куда под оглушительные звуки «Марша энтузиастов».

В детстве я это дело просто обожал, как, впрочем, и большинство детей. Еще бы – много красного цвета, музыка из громкоговорителя, концерт школьной самодеятельности, буфет с лимонадом и кремовыми пирожными, книжная лавка, где однажды мне был куплен «Том Сойер». А самое главное – мне было доверено всунуть сложенную вдвое бумажку в драпированный кумачом фанерный ящик. Ящик назывался урной. Это уже гораздо позже мое воображение стала занимать неясная, но глубинная метафизическая связь между всеми тремя функциональными значениями слова «урна». Это уже позже я стал задумываться над фатальным смыслом идиомы «отдать свой голос»: как это взять да отдать, а без голоса-то как же? А тогда, в детстве, была лишь чистая радость от прикосновения к торжественному и значительному взрослому миру.

Пытаюсь вспомнить, сколько раз я участвовал в выборах в качестве сознательного гражданина. В послесоветских – раза три, тогда же, когда и все. Однажды, как и всем, пришлось «голосовать сердцем». Когда же пришло время голосовать головой, я с этим делом как-то завязал.

А в советские годы – помню точно – я голосовал ровно один раз, когда мне исполнилось восемнадцать. С того раза я прекратил эти игры по вполне идейным соображениям, доводя до слез мою бедную, битую жизнью маму. Мамина

тревога была не вполне напрасной: в те годы любой жест понимался только как жест «за» или жест «против». Неучастие воспринималось как форма нелояльности. Это не то что теперь, когда твое участие или неучастие в этом всенародном торжестве «суверенной демократии» ровным счетом никого не колышет. В этом, собственно, и есть разница между тоталитарным режимом, требующим безусловного соучастия всех во всех заводимых властью ритуальных песнях-плясках, и режимом авторитарным, где ты просто ни на хрен никому не нужен. Ну, не придешь ты на выборы! Так оно, может, и к лучшему – только зря натопчешь. А если не только ты не придешь? А если многие не придут, то что тогда? А ничего, ты не беспокойся – на этот случай уже и закончик заготовлен. Так что как хочешь – у нас все же демократия, не забывай. У нас, если ты забыл, имеет место «разделение властей». Нет, говоришь, никакого разделения? Да как же это нет, когда все буквально ветви безусловно *разделяют* все явные и тайные мысли и чаяния ствола. Так что вот.

Так что с выборами, с нормальными человеческими выборами как-то все не складывается у нас. Зато у каждого из нас есть выбор – личный, персональный, индивидуальный. Впрочем, он был всегда.

[Герои] Знакомый до слез

Вообще-то я телевизор не смотрю. А вот в воскресенье вечером зачем-то включил. И, прямо как в доброй сказке, был немедленно же вознагражден за свою решительность удивительным сюжетом. Первый канал показывал и рассказывал про то, как наш президент посетил город своей мятежной молодости – город Дрезден.

Главное в сюжете – интонация. Теплая, задушевная, ничуть не бравурная, можно сказать пастельная. С «живинкой и человечинкой». «Владимир Путин гулял по Дрездену, заходил в пивные, разговаривал с местными жителями на их языке – в общем, вел себя так, как ведут себя в одном случае – в том редком случае, когда возвращаются в свою молодость», – не без лирической «грустинки» начал автор сюжета. «Как в стихотворении: „Я вернулся в свой город, знакомый до слез...“» – продолжил он вкрадчиво. Я, признаться, вздрогнул, вообразив себе, что почувствовал бы Мандельштам, если бы ему дано было знать заранее, насколько издевательски-безжалостными могут оказаться извивы истории, когда его строки и его судьба с невыносимой легкостью смогут подверстываться к чему и к кому угодно, в том числе к усердным ученикам и наследникам убившей его системы. Впрочем, дальше я вздрагивать перестал, ибо следующим, что я услышал, было: «Это тоже старая русская традиция: юность в Германии». Так, понятно: «с душою прямо Геттингенской», Ленский, Веневитинов, Любомудры, КГБ, Штази – нормально. Обаятельно для тех, кто понимает.

После Мандельштама и «юности в Германии» не мог не последовать

Достоевский: «Между двумя протокольными встречами дрезденец из Питера нашел время, чтобы открыть памятник известному на весь мир земляку, который город на Эльбе знал не хуже, чем город на Неве. Писатель бежал сюда от долгов, а нашел вдохновение. наброски к роману „Бесы“ были написаны в Саксонии, здесь же у Федора и Анны Достоевских родилась дочь. Валерия Шелике из Немецко-российского института культуры давно заметила, что у Дрездена Достоевского и Дрездена Путина часто пересекаются адреса». Понятно? У автора «Бесов» и у мелкого шпиона бесовского государства «пересекаются адреса». В общем-то тоже нормально. Автор сюжета, насильственно привлекая на свою сторону и на сторону своего героя имена и реалии отечественной и мировой культуры, преследовал одну цель: встроить образ героя в почтенный культурно-исторический контекст. Ряд получился ничего себе – вполне репрезентативный: Достоевский, Мандельштам, Путин. «Гомер, Мильтон, Паниковский».

Культурка культуркой, а душевность душевностью, но портрет не может быть полным без героической составляющей. Президент все-таки, а не какой-нибудь Достоевский.

И вот мы узнаем новые, леденящие душу фрагменты славной президентской биографии:

Когда в 89-м толпа в соседнем квартале громила здание Штази, министерства госбезопасности бывшей ГДР, другая колонна шла сюда. В Штази был страшный погром, люди переворачивали сейфы, жгли досье и фотографии, все искали папки с осведомителями. Решили, что надо идти к русским, брать их архив.

Толпа окружила здание, и кто-то позвонил в дверь флигеля. Вот она, ее с тех пор и не красили. Но ни в дом, ни даже во двор никто не вошел. На пути демонстрантов вдруг появился светловолосый сотрудник с пистолетом в руках. Он спокойно оглядел толпу, поздоровался и на хорошем немецком сказал – это советская территория, и вы стоите на нашей границе. И я говорю серьезно – я буду стрелять в ее нарушителей.

Фолькер Гец, свидетель штурма: «Он так спокойно и уверенно это сказал, что люди постояли, покричали, а потом стали расходиться. Все ожидали стрельбы, драки, но только не этого. Потом мы узнали, что этот сотрудник стал вашим президентом».

После Достоевского с Мандельштамом никого не удивило бы в этом эпизоде сравнение Путина с Грибоедовым. Но нет – там закончилось все не так удачно. А тут? Страшно и подумать, что было бы, если бы... Нет, не стану продолжать. Скажу только, что Провидение в этот раз оказалось милостивым к россиянам.

Этот милый телесюжет – далеко не первый в набирающей обороты агиографической деятельности кремлевско-останкинских сказителей. Может быть, дело в том, что я слишком редко смотрю телевизор, но именно эта штука мне показалась действительно посильнее, чем «Фауст» Гете.

И что с того, что сюжетец выглядит довольно топорным и неуклюжим? Это дело наживное – дайте, как говорится, срок. Жанр ведь только встает на ноги. Есть главное: честность и искренность. Главное то, что в абсолютном бескорыстии и чистоте помыслов авторов этого небольшого шедевра сможет усомниться лишь самый неисправимый скептик.

[Девяностые] Обретение сапога

Известно, что и века, и десятилетия далеко не всегда совпадают с показаниями календарей. 60-е годы, например, начались раньше, а именно в 1956 году. А 70-е закончились позже, то есть в середине 80-х. 90-е годы начались почти вовремя, опоздав всего лишь на полгода. Они начались ровно пятнадцать лет тому назад, в двадцатых числах августа 1991 года. Именно в те дни началось бурное и двусмысленное десятилетие, то или иное отношение к которому стало идейным водоразделом последних лет.

У каждого свои 90-е. И у каждого свое 19 августа. И каждому, кого счастливым образом миновала эпидемия коллективного беспамятства, есть что вспомнить. А кто ничего не помнит, тому, стало быть, и не надо.

Интересно, что через неделю-другую после событий многие из тех, чьи воодушевленные и удивительно похорошевшие лица я видел вокруг себя в те дни, стали как-то стесняться собственного воодушевления, стали шутить и ерничать, энергично стряхивая градусы патетики и экзальтации. И это, видимо, правильно.

И начались 90-е годы с их надеждами и отчаяниями, с мусором на улицах и погасшими фонарями, с малиновыми пиджаками и обманутыми вкладчиками, с «мерседесами» и бабушками, торговавшими сигаретами возле станций метро, с ларьками и киосками, где на ценниках значились четырехзначные числа, казавшиеся не ценами на пиво и сигареты, а датами исторических событий.

Это было очень артистическое, можно даже сказать, театральное десятилетие. Именно в те годы в культурном и медийном пространстве сформировалась свободная, ироничная, непочтительная интонация, в новые времена признанная вредным анахронизмом. Именно в те годы я услышал анекдот, поразивший меня своим неизбывным, чисто национальным оптимизмом. Идет по улице человек в одном сапоге. Встречает знакомого. «Ты что, сапог потерял?» – спрашивает знакомый. «Почему потерял? Нашел!» Это анекдот про 90-е годы. Более или менее все тогда ходили в одном сапоге. Но ощущение пропажи сапога или же его обретения целиком и полностью зависело от

индивидуальной или групповой социально-психологической установки. Я вот уверен и по сей день, что я свой сапог не потерял, а нашел.

Нет, я вовсе не склонен идеализировать это странное десятилетие – много было в те годы мелких и крупных пакостей. Но я его люблю. Да уже хотя бы за то, что в самом его начале, то есть в те августовские дни, сбылась утопия, о которой ни в какой фантастике не приходилось читать и которую ни в каких снах не приходилось видеть: прямо на моих глазах, буквально в двух шагах от меня с сухим треском развалилась тупая и мрачная империя, накрылась медным тазом незыблемая и постылая советская власть. И ее уже не будет. Говорят, что может быть, да и уже есть, нечто другое, еще, может, и похуже. Нет, хуже не будет ничего – уверен.

Несколько лет тому назад, на волне ползучего чекистского реванша, ставшего в наши дни чем-то вроде респектабельного идейного мейнстрима, всерьез обсуждался вопрос о восстановлении памятника Железному Феликсу, зрелищный демонтаж которого стал в те августовские дни апофеозом революции. Если бы меня спросили, я бы ответил, что я, пожалуй, не против восстановления монумента. Но с одним непременным условием. Пусть себе стоит на своем привычном месте чугунный Феликс Эдмундович, олицетворяя собою властную вертикаль, возводимую его верными учениками. Но только пусть при этом на шее козлобородого истукана болтается веревка, а на голове его восседает счастливый московский пацан из тех незабываемых фотокадров и из тех позорно забываемых дней.

[Доверие] При чем здесь чукча

«А нет ли каких-нибудь новых анекдотов из Союза?» – с чуть-чуть нерусским синтаксисом и с некоторым интонационным акцентом спросил меня мой друг, эмигрировавший в Америку в середине 70-х годов. А разговор наш происходил в начале 90-х в городе Нью-Йорке, куда я попал впервые. Я рассказал ему какой-то первый же вспомнившийся мне анекдот про чукчу – кажется, про то, что чукча не читатель, а писатель. Поскольку приятель мой был как раз писатель, мне показалось, что ему это будет забавно. Но ему не было забавно. Он печально сказал: «Да, как была Россия расистской страной, так и осталась». Тут пришла очередь взгрустнуть и мне. Во что, подумал я, превратила веселого и насмешливого человека суровая и стерильная политкорректная реальность. «Ты в общем-то прав, – сказал я, – Россия действительно довольно-таки сильно заражена бытовым расизмом. Но вот только анекдоты про чукчу здесь совершенно ни при чем».

Действительно, чукча здесь ни при чем, как, впрочем, ни при чем и разные прочие персонажи особого этнографически окрашенного фольклора, присущего всем постимперским народам. В мае этого года я побывал в Тбилиси, где

рассказывал своим новым грузинским знакомым о том, что в советские годы в России существовал такой фольклорный, анекдотический «грузин» – богатый, щедрый, любящий пустить пыль в глаза, говоривший со смешным акцентом и к реальному грузину едва ли имевший особое отношение. Одним словом, «палто нэ надо». «О да, – сказала одна дама, – я хорошо помню эти анекдоты. Эти ваши „грузины“ носили кепки-аэродромы, какие обычно носят наши тбилисские евреи, и разговаривали с азербайджанским почему-то акцентом».

Этот комический грузин тоже ни при чем. И ни при чем медлительный, туповатый и основательный «эстонец». И ни при чем «еврей», «украинец» и все прочие.

Да что там Россия. Во Франции вот, например, рассказывают анекдоты про «бельгийцев». Недавно в Париже мне рассказали такой, довольно, надо сказать, черноватый анекдот: «Вопрос: что такое „скелет в шкафу“? Ответ: это бельгийский мальчик, который играл в прятки. И выиграл».

А это при чем? А это к чему имеет отношение? К шовинизму, к бельгиефобии? Чушь, разумеется. Ни к какому расизму, ни к какой ксенофобии и никаким прочим формам человеконенавистничества не может иметь никакого отношения все то, что остроумно и весело...

Я помню, как однажды, в конце 90-х годов, я чуть не сорвал выпуск издания, в котором тогда работал. Я этого не хотел, это получилось случайно. Просто я пришел к коллегам из отдела политики, где горячо обсуждался какой-то материал про чеченские события, и сказал, что мне пришли в голову неплохие имена для трех полевых командиров: Ушат Помоев, Букет Левкоев и Рулон Обоев. Дня на три работа застопорилась. Из разных углов редакции раздавались спонтанные взрывы. Из одного угла слышалось: «Камаз Отходов» (взрыв). Из другого – «Рекорд Надоев» (опять взрыв). Из третьего – «Парад Уродов» (залп в сорок три орудия). Из четвертого – «Билет Догаваев» (девять баллов по шкале Рихтера). Потом эти чудесные имена-фамилии долго шлялись по Интернету, лавинообразно обрастая все новыми образцами стихийного имятворчества.

Летом следующего года я поехал в Эстонию, где развлекался в том числе и тем, что от нечего делать придумывал эстонские фамилии, а также географические названия. Эта тема оказалась не менее заразной, чем «чеченская». Жаль, поленился я записать свои вещие откровения, а потому многое забыл. Помню лишь промышленный город Вырву-Кохти. А также запомнилось мне как бы начало как бы главы из как бы учебника: «Эстонский советский писатель, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда Порно Сайт родился в 1919 году в рыболовецком поселке Трахну-Выдру в северной Эстонии, где и провел свои детские годы».

Ну вот. А это что? Ксенофобия? Великодержавный шовинизм? Ответ на этот вопрос у меня есть: мои эстонские друзья, когда я делился с ними своими ономастическими изысканиями, очень радовались и просили еще. А другого

ответа нет и быть не может.

Войны и геноциды затевают вовсе не те, кто придумывают и рассказывают смешной анекдот про соседа. И тем более не те, кто обладают счастливым умением смеяться над самими собой. Войны затевают те, кому чудится, что сосед собрался отравить его корову или положил глаз на его жену.

А чукча тут ни при чем.

[Дружба народов] Лучше иметь дружбу всегда

Любовь. Вот и президент заговорил о ней. И правильно, пора уже. В последнее время общественно-государственная мысль все время вертелась где-то рядом: то впечатлительные ветеранки в свойственной им манере взялись за окончательное решение вопроса однополый любви, то здравоохранительные инстанции проявили серьезную озабоченность в связи с любовью некоторых неразборчивых граждан к недружественным минеральным водам. Так или иначе, но любовь, как ей это и положено, продолжала править миром помимо регулирующих механизмов родного государства, что, согласитесь, есть непорядок. Теперь с легкой руки президента любовь становится категорией государственной, политической. Ну и хорошо. И хватит уже. А то все сами да сами. Пусть и государство попотеет на этой сладкой и мучительной ниве.

С любовью – можно сказать, с облегчением – разобрались. Но еще осталась дружба. С дружбой, впрочем, в свое время основательно поработало другое государство – советское. Была, была дружба в советские годы, цвела она пышным цветом и щедро подкармливалась родным государством. И называлась она «дружбой народов».

Эх, закадычная ты наша Дружба народов, законная дочь сурового Пролетарского интернационализма и Борьбы за мир во всем мире.

Когда-то Дружба народов была не только одним из козырей в агитпроповской колоде, но и вполне непыльной профессией. Не забыты еще ни «Дома дружбы», ни «Общества дружбы», где за столами президиумов сидели тетки с космонавтским прошлым и все время что-то говорили, причем совершенно небесплатно.

Про дружбу между народами сочинялось множество стихов и песен. «Дружба всего дороже, – пела нам всякий божий день неутомимая радиоточка, – дружба – это знамя молодежи». А мой товарищ, служивший в те годы в музыкальной редакции радио, собрал неплохую коллекцию всякой музыкально-поэтической продукции из того разряда, что принято называть «самотеком». В основном – про любовь и дружбу. То есть про любовь к партии и про дружбу между народами. Какие-то особенно удачные места навсегда застревали в памяти. Вот, например, песня. Начало такое:

Франция далекая на земле страна.
Хочет с нами вместе строить мир она.

И припев:

Лучше иметь дружбу всегда,
Чем не иметь ее никогда.

Спорить не приходится. Впрочем, «Франция» – это уже некоторое фрондерство, а вообще-то «дружба народов» распространялась в основном на территорию СССР и на страны народной демократии, куда на защиту пошатнувшейся дружбы иногда приходилось отправлять ограниченные воинские соединения. Но что пожалеешь ради дружбы. Дружба же всего дороже, как было сказано.

Вот еще хорошая история. В середине 70-х годов мой приятель-таллинец, работавший тогда научным сотрудником Эстонской академии наук, поехал по каким-то научным делам в командировку в Киев. Гуляя по городу, он заглянул в книжный магазин, и первое, что он там увидел, было серией разноцветных брошюр на украинском языке под общим названием «Приказки та прислів'я народів СРСР» (то есть «Пословицы и поговорки народов СССР»). Книжек было – по числу союзных республик – пятнадцать. Без труда отыскав эстонские «приказки та прислів'я», он купил их за 34 копейки и о покупке не пожалел, ибо весь свой обратный путь смущал своих попутчиков непрерывным радостным ржанием.

Приехав в Таллин и придя в родную академию, он тут же встретил в коридоре своего бывшего однокурсника, а тогда хоть и молодого, но уже признанного специалиста по финно-угорскому фольклору. «О! Хорошо, что я тебя встретил! – вместо приветствия сказал мой приятель своему приятелю. – Предлагаю пари». – «Какое?» – немедленно оживился приятель приятеля. Он славился не только как знаток, но и как азартный спорщик. «Давай спорить, что я знаю как минимум одну эстонскую пословицу, которую ты не знаешь». – «Ну, это вряд ли». – «Тем не менее». – «Давай. На сколько?» – «На десятку». – «А у тебя есть?» – «Есть, есть, не беспокойся». – «Ну ладно». Тогда мой приятель достает из кармана киевскую брошюру, неторопливо открывает ее на первой странице и пускает по кругу, который уже успел собраться вокруг спорящих. Самая первая «приказка» выглядела так (передаю ее в русской транскрипции): «Наш народ туды иде, куды партия веде». Весело было всем, кроме фольклориста, с достоинством, но явно безо всякого удовольствия расставшегося с последним червонцем.

Есть, есть что вспомнить про дружбу. А нынче, в наши суровые прагматичные времена, от Дружбы народов сохранились только лишь

шестнадцать золоченых теток, водящих неспешный хоровод под сенью фонтанных струй, да одноименный литературный журнал. Но не станем унывать. Все у нас впереди. Если уж в Кремле завели речь о любви, то и до дружбы рукой подать.

[Запад] Комплексные обиды

Это сейчас у нас «бизнес-ланчи». А в прежние времена примерно то же самое называлось куда более обыденно, но зато и более патриотично – «комплексными обедами», а на жаргоне работников общепита – просто «комплексами». «На комплекс – салат витаминный, рассольник, бефстроганы с гречкой и компот из сухофруктов. Будете кушать?» – глядя куда-то мимо и неумело скрывая профессиональную ненависть к вечно жующему человечеству, тараторила на одной ноте усталая официантка. А в одном заведении, куда я забрел однажды, прямо напротив входа висел огромный плакат с лаконичным самодиагнозом: «У нас комплексы». Я, помню, довольно долго приводил туда разнообразных друзей и знакомых, чтобы и они разделили мою филологическую радость.

Это, впрочем, присказка. Речь вообще-то о том, что многие годы мы жили в как бы перевернутом мире, где «все не как у людей». У людей, знали мы, бананы – это очень дешевая, продающаяся на каждом шагу еда для бездомных, зажигалка стоит дешевле пачки сигарет, в «Макдональдс» может запросто зайти каждый безработный, арбуз и малину можно купить среди зимы, ужин в ресторане и приличная рубашка стоят примерно одинаково, в магазине спокойненько лежат двадцать восемь сортов кефира и при всем при этом ни за чем нет очереди. «Ну ладно, так-таки и нет?» – «Ну, нет же, тебе говорят!»

Ну вот, и у нас теперь вроде бы все «как у людей». Так и радоваться бы!

Но нет – вместо вождя умиротворения пришла тяжкая депрессия. Еще бы: бананы – дешевка для бомжей, сигареты еще дороже, чем зажигалка, «Макдональдс» – вообще полное говно (суки америкосы мало того, что сами жрут всякую гадость, так и нам еще подсовывают), малину выращивают где-то в Голландии – никакого вкуса, кефир – сплошная химия. Очереди нет, это правда – но так ее, кстати, и раньше не было, ее демократы выдумали.

Любовно лелеемый миф стал рутинной реальностью, а потому в определенном смысле лишил существование смысла, лишил его мечты. «А кто виноват?» – вечнозеленый русский вопрос. Ну как это «кто»? Непонятно, что ли? Запад, конечно, кто же еще.

Стихийное народное западничество последних лет советской власти и первых лет после нее было, если угодно, мейнстримом общественного сознания. У них вот – да. У нас – нет. Они могут. Мы – не очень. Власти очень хорошо уловили нерв общественного настроения и, затеяв те или иные пакости, взяли за

правило ссылаться на «мировую практику». Кстати, это по инерции происходит и теперь. Когда же им пытаются робко намекнуть на то, что мировая практика вовсе не исчерпывается репрессивно-запретительными мероприятиями, то тут же выясняется, что нечего нас учить, что у нас свои традиции и что на себя бы лучше посмотрели, у вас у самих проблем хоть завались. Это правда: проблем у Запада много, может быть, не меньше, чем у нас. Разница одна, но очень существенная. Западное общество свои проблемы воспринимает именно как проблемы. В нашем же обществе, где все большее право голоса обретают вечные второгодники, проблемы трактуются как объекты национальной гордости, как признаки самобытности и как этапы особого пути. Когда не очень получается стать нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще – как сказали, так и будет. А великим все завидуют, разве не так?

Антизападническая риторика стала в последние годы таким же правилом хорошего тона, каким лет десять тому назад была риторика безоглядно прозападническая. Градус этой риторики по странному совпадению повышается прямо пропорционально росту цен на энергоносители.

Вальяжная презрительность по отношению к «пресловутым» западным ценностям и глянец – как бы понарошку – изоляционизм стали своеобразной интеллектуальной модой. Чувствительная к веяниям времени гламурно-офисная публика между двумя глотками кампари-оранжа в ожидании бизнес-ланча цедит сквозь зубы что-то про «тупых америкосов», про нашу отстойную «демшизу» и про то, что «Россия еще всем вставит». С модой глупо спорить – ей можно либо следовать, либо нет. У любой моды есть как минимум одно важное достоинство – она проходит.

А уж о легковозбудимых журналистах, в чьей кристальной неподкупности может усомниться лишь самый неисправимый скептик, или о доблестных генералах, чьи компетентность и всемирная отзывчивость не подлежат обсуждению, даже и говорить неинтересно. Их мотивы прозрачны и недвусмысленны, с ними все понятно. Понятно все и с духовными потомками «слободских и посадских» – с их семечками, гармошками и врожденной злобой по отношению как к «деревенским», так и к «городским», как к «восточным», так и к «западным». Вот и певица Жанна Бичевская, бывшая советская Джоан Баэс, а ныне – золотой голос героического Движения ПНИ, колебля вещие струны своей гитары, несет нам благую весть о том, что «русские плюют на власть америк и европ».

Да и как тут не плюнуть с досады, если Запад так подло нас обманул.

Когда, начиная с конца 80-х годов, наши люди стали выезжать в «америки и европы», они с непривычки поражались и восхищались всем подряд. Но при ближайшем рассмотрении стали замечать что-то неладное. Люди там, оказывается, не летают по воздуху, а ходят, как и мы, по земле. Там, оказывается, существуют человеческие страдания, преступность, чиновничья глупость,

врачебные ошибки, терроризм и несчастная любовь. И машины бьются. И поезда сходят с рельсов. Запад не оказался раем. Он оказался всего лишь другим кругом ада. Западу не прощается несовершенство. Это похоже на чувства подростка, увидевшего вдруг героиню своих романтических грез выходящей из уборной.

Запад нагло и цинично нас надул. Поматросил и бросил. А ведь какие слова говорил! Какую гуманитарную помощь дарил!

Нынешние песни «о главном», то есть о маниакальном стремлении зловерного и завистливого Запада во что бы то ни стало замучить «великую державу», ту самую, которая, побряхтывая и потрескивая суставами, встает с колен, слово в слово повторяют те же песни, что с давних советских лет и по сей день свербят в моих ушах. Ничего нового тут не придумаешь, да и зачем: старый конь борозды не портит. Только вместо СССР – Великая Россия. А вместо «советского строя» и «коммунистического мировоззрения» – «славные традиции предков» и прелея, надышанная поколениями «духовность». Помню из тех давних лет какого-то лектора, певшего что-то в таком примерно духе: «Ни сил, ни средств не жалеют зарубежные враги нашего государства на подрыв... Чуждая нам идеология... Борьба идей... Музыка и танцы... Одежда... Разрушительная работа ведется во всех направлениях... Но прежде всего она направлена на молодежь и (внимание! – Л.Р.) на мыслящую часть нашей интеллигенции». Здорово сказано – никакого Фрейда не нужно.

Никакого Фрейда не нужно, ибо, какими бы «бизнес-ланчами» нас ни потчевали, сквозь них все равно просвечивают все те же старинные «комплексы». И нет особой нужды напоминать об этих самых комплексах посредством жирного плакатного шрифта – и без того все понятно.

[Идентичность] Ты кто?

В начале 70-х годов в моей тогдашней компании была популярна такая штука – тест не тест, игра не игра. В общем, одному и тому же человеку (новому в компании) трижды задавался один и тот же вопрос: «Ты кто?». Отвечали, понятно, кто как. Кто-то, допустим, первым делом называл свое имя, вторым – профессию, третьим – половую принадлежность. Кто-то – как-то еще. Я вот, помню, три раза подряд назвал свои имя и фамилию, за что был – видимо, справедливо – заподозрен в сугубом эгоцентризме. А также мне запомнился молодой человек, который на вопрос «Ты кто?», трижды без запинки ответил: «Армянин». Меня это, признаться, поразило. Это уже позже я стал замечать все большее и большее число людей, для которых их этническая принадлежность является главным, если не единственным пунктом самоидентификации. То есть не только знаменитым «пятым пунктом», как это сложилось в сознании всех советских граждан, а первым, вторым, пятым, седьмым и семнадцатым.

Но форумах интернет-изданий днем и ночью пасется особая, не слишком

многочисленная, но отличающаяся особой крикливостью порода участников, крайне озабоченных национальным вопросом. Одни кричат: «Что же ты, еврей, тут делаешь, если тебе все тут не нравится!» Ехай, типа, в свой Израиль. Другие увещевают: «Ну вот, видите, в какой стране и среди каких людей вы живете. Как вы можете здесь жить?» То есть говорят они, в сущности, одно и то же и более или менее на одном языке. А однажды я прочитал такое: «Статья Ваша весьма интересна. Но кажется немного странным Ваше упорное нежелание касаться еврейской темы». Что тут можно ответить? Ответить вопросом на вопрос и спросить, а на каком, собственно, основании я должен касаться именно этой темы? Отчего бы попутно не поинтересоваться, почему я не пишу о ценах на нефть или о военной реформе? Неужели всего лишь потому, что моя фамилия такая, какая есть, а не другая? Странно, ей-богу. Да и неправда – касаюсь я этой темы, вот теперь, например. Но писавший этот комментарий имел в виду явно другое. Он имел в виду, что человек того или иного происхождения не может и не должен писать, говорить, думать ни о чем ином, кроме как о специфических проблемах своего рода-племени. Писал это, видимо, один из тех, кто на вопрос: «Кто ты?» трижды называет свою национальность.

А я кто такой? Ну, то есть в этом самом смысле.

Нет, не стану я отвечать на этот вопрос. Во-первых, потому, что я убежден: всякая этническая принадлежность, как, кстати, и религиозная, – сугубо интимное дело каждого индивида и гражданина. Публичная репрезентация своей этнической принадлежности является безусловным правом каждого, но не является его обязанностью. Точно так же, как женщина может красить губы, а может их и не красить – ее дело. А во-вторых, не стану я говорить об этом вот почему. С точки зрения национально озабоченных лиц любой окраски со мною и так все ясно, а для неозабоченных – этого вопроса не существует вовсе. Так что и отвечать-то особенно некому. Разве что самому себе.

Но если бы я вдруг и решил ответить, то ответил бы примерно так.

Весь опыт жизни в моей стране давно и прочно приучал и приучил меня к тому, что русским я не являюсь. А являюсь я, наоборот, нерусским, каковое обстоятельство никак невозможно объяснить европейцу, а американцу – тем более. «Вот ты говоришь, что ты еврей. Это что значит? Что ты соблюдаешь субботу и ходишь в синагогу?» – «Нет. Не соблюдаю и не хожу». – «А какой язык ты слышал с рождения? На каком языке говорили твои родители?» – «На русском, разумеется». – «Ничего не понимаю». Да, это непонятно. Но я не русский. И я это знаю твердо. И все дворовое детство прошло в непрерывных драках по «национальному вопросу».

Лучше, чем высказалась на эту тему блистательная Лидия Гинзбург, высказаться трудно. Вот что написала она однажды: «Чувство общественного приличия запрещает увиливать от своего происхождения. Нельзя находиться в положении человека, который говорит: „Я русский“, а завтра может стать

объектом еврейского погрома». Подписываюсь.

Это, так сказать, негативный опыт. Но зачем же им ограничиваться? А моя любимая бабушка, чьим родным языком был идиш? А бабушкин растрепанный молитвенник? А ее песенки и поговорки? А ее фаршированная рыба? А многочисленные пожилые родственники, по праздникам собиравшиеся в нашем доме и распевавшие за большим столом еврейские песни?

Но иногда я все-таки бываю и русским. Им я становлюсь, пересекая государственную границу моей родины. Лишь за границей я могу уверенно, без оглядок и многозначительных покашливаний, сказать, что да, я русский. А кто же еще? Китаец, что ли?

И есть еще такой аспект этнической идентичности, как стыд. Когда я слышу или читаю какую-нибудь гадость из уст того или иного трижды-еврея про то, что «русский народ – это народ свиней и рабов», мне бывает стыдно как еврею. Когда на стенах и заборах родного города я читаю что-то вроде «азеры – вон из Москвы» или даже внешне нейтральное «русская семья снимет квартиру», мне стыдно как русскому и как москвичу. Я помню, как в Таллине, в компании эстонцев, кто-то из присутствовавших понес что-то довольно-таки гадкое про какие-то там свойства и черты, якобы свойственные русской нации. Я спросил его: «А почему ты говоришь это в моем присутствии?» – «Но ты же не русский», – сказал он простодушно. «Нет уж, – сказал я. – В этом смысле я русский». Он извинился и сменил тему.

Не стану врать, что меня вовсе не волнует и не интересует эта самая тема. Почему же, интересует. Но интересует меня она в аспекте, скажем так, этнографо-фольклористическом. Разве не увлекательны и не поучительны семейные предания, анекдоты, поговорки, песенки. А уж кухня! Кстати, о кухне. Мой знакомый режиссер, татарин, выросший в Ташкенте, говорил, что национальность в его представлении – это запахи из кухни, слышимые в раннем детстве. Можно и так.

Фольклор – это десакрализованный миф. Но беда в том, что для многих, застрявших в стадии архаического родо-племенного сознания, не фольклор, а именно миф лежит в основе всего. А где миф, там и причинно-следственные связи принципиально иные, чем те, что приняты в современном мире. Потому и сакраментальный вопрос «Какого ты роду-племени?» является для них главным и последним вопросом, ответ на который позволяет без затей решить и все прочие вопросы. Различны лишь ракурс и контекст. Ты умен и талантлив, потому что ты еврей. Ты великодушен и широк, потому что ты русский. Ты подл и расчетлив, потому что ты еврей. Ты злобен и туп, потому что ты русский. Такие словосочетания, как, например, «настоящий русский мужик», в зависимости от контекста и интонации могут принимать не только различные, но и прямо противоположные значения.

Но всего этого я говорить не буду. Зачем? Об этом столько всего сказано и

написано. Для кого-то, как для меня, например, это более или менее ясно и очевидно. Для кого-то – говори, не говори, он все равно будет стоять на своем. Но если все же вопрос «Ты кто?», будет звучать уж очень настойчиво, то я отвечу так же, как я однажды ответил: я трижды назову свои имя и фамилию. И пусть каждый вычитывает из этого ответа что его душевненьке угодно.

[Интеллигенция] Интеллигентные подтяжки

Ведь чуть что – так сразу про интеллигенцию. Интеллигенция – то, интеллигенция – се. То она чего-то все время кому-то должна, то ей кто-то. Никак не утихнут безумные в своей фатальной неразрешимости разговоры о том, кто она, эта самая интеллигенция, – совесть ли нации или ее говно. А также все висит и висит в воздухе проклятый вопрос про «с кем вы, мастера культуры».

А все эти вопросы, сколько раз их ни задавай, все равно вопросами и останутся, ибо ответа не имеют. По крайней мере – ответа односложного и очевидного. А не имеют они ответа потому, что интеллигенция – это вовсе не гомогенная субстанция, склеенная теми или иными общими идеалами, целями, ценностями и жизненными принципами.

Сказанное, разумеется, в полной мере относится и к так называемой «творческой интеллигенции», то есть к совокупности объединенных чисто формальными признаками граждан, профессиональная деятельность которых заключается в писании букв, в рисовании картинок, в вождении смычком по струнам и в умении ловко притворяться на сцене вовсе не тем, кем ты являешься на самом деле.

Вот, допустим, удивляются и негодуют: «Как же он мог! Он же артист! На него же смотрят миллионы. Неужели ему не дорога его репутация?» Почему не дорога? Дорога. Просто референтные группы у всякого свои. Кто-то дорожит своей репутацией в профессиональной среде. Кто-то остро ощущает свою социальную ответственность перед читателем-зрителем-слушателем. А кому-то важно и интересно исключительно то, что о нем думают в Администрации президента или на худой конец в Министерстве культуры.

И это все имеет отношение к репутации и заботе о ней. И в общем-то непонятно, на каком основании одних следует считать интеллигентами, а других – нет.

Интеллигенция как единое понятие – вещь трудно-представимая, а потому до такой степени располагает к мифологизированию.

В Москве около Музея Сахарова стоит престранное сооружение: металлический конь с крылами вольно или невольно парит над частоколом из неопрятно зазубренных то ли шипов, то ли прутьев. Это, представьте себе, памятник российской интеллигенции. Так там буквально и написано.

Таким образом российская интеллигенция в лице ее славных

представителей – деятелей задорного скульптурно-монументалистского цеха – воздвигла памятник самой себе. Причем вполне рукотворный.

Памятники разным абстракциям или – что в данном случае то же самое – собирательным категориям ваять легче в том смысле, что никто не станет гнобить их авторов с точки зрения внешнего сходства или несходства с оригиналом. Но оно же и труднее, ибо надо же все-таки хоть как-то представить себе емкий визуальный образ, скажем, Стабильности или, допустим, Удвоения ВВП.

Или взять ту же интеллигенцию. Как ее вообразить? А изобразить как? Как персонифицировать? Собирательный народный образ интеллигента сводится к чему-то невнятному, но непременно в очках и шляпе. Но тут может получиться, не дай бог, какой-нибудь Берия. Нет, не пойдет. Интеллигенции к лицу страдание, не так ли. Подвергнутый добрососедской порке Васисуалий Лоханкин вполне бы здесь сгодился, хотя ведь он тоже, некоторым образом, фантазия.

Но в данном случае мы имеем, вообще-то говоря, очередную конную статую. Что и правильно, ибо это надежно и респектабельно. Конь – это всегда конь. Хоть бы и крылатый. Хоть бы и в пальто.

Некоторая неясность состоит лишь в том, является ли памятник интеллигенции памятником при жизни, наподобие тех, что принято было воздвигать тиранам на столичных площадях и дважды героям на их малых родинах. Или это, так сказать... Нет, не будем давать волю мрачным прогнозам.

Во избежание мучительных и вязких недоразумений я бы не стал употреблять слово «интеллигенция» в том или ином оценочном смысле. Никакого проку от этого не было и не будет.

А вот прилагательное «интеллигентный» мне кажется вполне оценочным и для меня более или менее понятным. Употребляя это слово, я обычно имею в виду человека, наделенного достаточно изощренным поведенческим вкусом и отчетливым этическим рефлексом.

Впрочем, вкладывая в это понятие именно такие значения, я не чувствую себя вправе не допускать и иных. Вот, например, была когда-то у нас такая соседка – Клавдия Николаевна. Так вот она этим словом оценивала почему-то исключительно объекты материальной культуры. Забежав к моей маме за луковицей «на минутку» и просиживая у нас часа по полтора, она иногда хвасталась удачными приобретениями. «Я, Елен Михалн, в ГУМе скатерку купила. Таковую интеллигентную! Часа два простояла. Зайдите посмотрите».

Ладно – скатерка. Однажды она сообщила о том, что купила в подарок мужу «очень интеллигентные подтяжки». Что означал в данном контексте этот сильный, но туманный эпитет, для меня навсегда осталось загадкой.

Устойчивое словосочетание «типичный интеллигент» в зависимости от контекста или интонации может иметь абсолютно разные значения. В одном случае может, допустим, подразумеваться человек, чьи твердые принципы

органично сочетаются с терпимостью и уважению по отношению к чужим убеждениям. В другом случае речь вполне может идти о безвольном растрепе, не умеющем вкрутить лампочку.

Один мой знакомый на вопрос, как бы максимально кратко он определил интеллигента, подумал и сказал: «Ну, это, видимо, тот, кто без ошибок пишет слово „интеллигент“».

Можно и так. А можно, говоря предельно схематически и ради пущей выразительности максимально сгустив краски, предположить, что интеллигент от неинтеллигента отличается тем, что неинтеллигент в гостях стырит, допустим, ложку, а интеллигент – книжку.

А чтобы не заканчивать столь мрачно, вот цитата: «Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по России там и сям – интеллигенты они или мужики, – в них сила, хотя их и мало». Это Чехов, один из самых пронизательных диагностов загадочной русской души.

[Инфантилизм] Пионерская правда

Дорогие друзья! Юноши и девушки! Школьники и школьницы! Предприниматели и предпринимательницы! Пенсионеры и пенсионерки! Бюджетники и бюджетницы! Силовики и силовички! Временно работающие и временно неработающие! Стражи суверенной демократии и строители властной вертикали! Правозащитники и правонарушители! Зарегистрированные и понаехавшие! Согласные и гласные! Наши и «наши»! Господа и товарищи!

Мы отмечаем славную дату. 19 мая сего года Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина исполнилось бы 85 лет, если история не повернулась бы так, как она повернулась, и страна Пионерия, подобно легендарной Атлантиде, не погрузилась бы в пучину нахлынувшей на нас олигархической псевдодемократии и грабительской приватизации, оставив на поверхности нашей новой жизни угасающие круги полузабытых восторгов и навязчивых кошмаров далекого детства.

Я не брошу в тебя камень, милая Пионерия, младшая сестренка Ленинского комсомола, дочурка коммунистической партии. Да и как можно бросить в тебя камень, не рискуя попасть в самого себя – стриженного и лопухого, проведенного бессонную ночь накануне принятия в пионеры. Заснешь тут, пожалуй, когда страх забыть слова торжественной клятвы решительно затмевает все прочие страхи, включая страх смерти. Вот я и помню до сих пор: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю». Могу, если хотите, продолжить дальше, до самого конца, до слов «как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия». Да только зачем: все и без меня помнят.

Как же я боялся осрамиться! Как волновался! Как же я был горд, когда все

обошлось благополучно и мою тонкую шею обвил ласковый кумачовый треугольник.

Мое пионерское детство пришлось на вторую половину 50-х годов. Это были годы осторожного, но отчетливого социального скептицизма, а потому и блаженный морок «пионерства» недолго владел юными душами, сменившись нормальным полудиничным подростковым конформизмом. Во всяком случае, галстуки снимались с шей и засовывались в карман сразу же по выходе из школьного здания, а каноническое «честное пионерское» или – пуще того – «под салютом всех вождей» довольно быстро сменилось приклатненно-дворовым и куда более убедительным «бля буду».

И ведь буду, если забуду когда-нибудь голодные пионерские сборы и мучительные линейки со знаменами и барабанами, где нельзя было, но все время хотелось смеяться, рыжего горниста с незабываемой фамилией Чушкин и пионерскую комнату, где – все знали – пионервожатая Лена встречалась с десятиклассником Каширским, макулатуру и металлолом, стенды про то, что «Куба любовь моя», и литмонтажи про «бежит матрос, бежит солдат», белый верх и черный низ.

Все это прошло как с белых яблонь дым, а слово «пионер» стало со временем означать человека глуповатого, чуть восторженного, не в меру доверчивого, не желающего взрослеть.

Не желающее взрослеть общество тянется к детству, как к источнику ясности и простоты. Поэтому, друзья, на этот раз в обстановке небывалого подъема с колен мы отметим этот светлый праздник, который, как вдруг выяснилось, всегда с нами. Отпразднуем его так, как будто бы ничего и не было. А ничего и не было, ведь правда же? Ну, была тут какая-то геополитическая катастрофа, но мы справимся и с этим.

Мы заштопаем наши покоцанные молью пионерские галстуки, мы застенчиво и любовно нацепим их на себя и, как в волшебной сказке, перенесемся в сладостное утробное тепло былого величия и четких жизненных ориентиров.

Что пожелать новым нашим «юным пионерам»? «Будьте готовы»? Так они и без того «всегда готовы». Причем к чему угодно.

И как тут не вспомнить про великую артистку Фаину Раневскую, произнесшую однажды крылатый призыв: «Пионэры! Идите в жопу». Хотелось бы к этому что-нибудь добавить, да нечего.

[Конвенции] Слово на слово

Какие идеологии? Какая борьба идей, если речь идет о чем-то более существенном и глубинном – о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы все говорим на одном языке, – это иллюзия, которой тешат нас Ожегов с

Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась наиболее наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной.

Не знаю, кто как, но я ощущаю это даже на уровне интонаций и на уровне синтаксиса. Недавно я проходил мимо какой-то церкви, на дверях которой красовался небольшой плакат. Мне стало любопытно. На плакате славянской вязью (что вполне естественно) было написано: «При входе в храм отключите свои телефоны». Вроде бы все понятно. Но что-то в этой словесной конструкции меня царапнуло – долго не мог понять, что именно. Потом понял: порядок слов. В этом контексте, разумеется, следовало бы написать «отключите телефоны свои». А вполне нормативные в ином контексте «свои телефоны» выглядели здесь как вычурная, режущая ухо инверсия.

Впрочем, синтаксис, не говоря уж об интонации, – дело тонкое и чрезвычайно индивидуальное. Самым ярким и наглядным образом языковая несовместимость являет себя на уровне ключевых слов. Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким кляцаньем и высеканием искр. Этот звон и скрежет можно назвать как угодно, но только не диалогом.

Есть люди, у которых при произнесении таких слов, как «держава», «империя», «геополитические интересы» или «великие духовные традиции», начинают фосфоресцировать глаза и учащается пульс. А от таких слов, как «мировой опыт», «современный мир» или, не дай бог, «права личности», их челюсти сводит судорогой, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Есть люди, для которых некоторые имена прилагательные, означающие нечто вполне нейтральное, например, всего лишь национальную принадлежность того или иного субъекта или объекта, не могут употребляться внеоценочно. Вот «русский богатырь», например, существовать имеет право, а «русский фашист» – нет, ибо это уже, извините, «русофобия». (Вот, кстати, еще одно ключевое слово, означающее в контексте данной риторики недостаточно восторженное отношение к тем или иным аспектам отечественной истории или современной жизни.) А для того, чтобы с ходу определить, какое из слов в таком, допустим, словосочетании, как «грузинские воры в законе», является ключевым, повышенной пронизательности не требуется.

Еще есть такая штука, как «патриотизм», означающая, как правило, приблизительно то, что навозную кучу посреди родного огорода предписано любить на разрыв аорты, в то время как клумба с георгинами во дворе соседа ничего, кроме гадливого омерзения, вызывать не должна. Тест на подобный патриотизм выдерживают далеко не все, и тогда они переходят в разряд «русофобов» или, пуще того, во «врагов нации» и наймитов зловредного Сороса – грозы полей и огородов.

Язык власти – тема отдельная. В советские годы власть говорила на агитпроповском воляпюке, а язык протеста и инакомыслия опирался на

грамматику и лексику правозащитного движения. Сейчас все чуть ли не наоборот. Власть теперь «ботает по юридическо-экономической фене», да так бегло, что и разобрать ничего невозможно. Впрочем, феня для того и существует. Включая на полную катушку кафкианскую крюкотворческую машину, движущуюся пусть и медленно, но в четко заданном направлении, власть пытается усыпить нас, парализовать волю к сопротивлению, и ей это, надо сказать, иногда удается. Кафка в очередной раз становится былью.

Но за последнее время власть, ощутив, что она тут «у себя дома», постепенно перестает стесняться и начинает изъясняться в куда более комфортных для нее категориях «геополитических интересов» и «врагов нации». А еще им не дает покоя всяческое «величие». Да только стоит ли так много говорить о «великой стране», если ты и правда так уж уверен в ее величии? В дни киевского Майдана, выступая на одном из митингов, Ющенко сказал что-то вроде того, что «Украина станет модной страной». Это было неожиданно, и это мне понравилось. Это вам не какое-нибудь там архаическое «величие», уместное лишь в стенах Оружейной палаты или в опере «Жизнь за царя».

И вот что еще. Когда журналист в телевизоре говорит мне что-то вроде того, что «наша политика в Закавказье должна» или «мы не можем допустить, чтобы», мне хочется сказать ему: «Слушай, дорогой. Кто это „мы“? Это ты вкупе с президентом, его администрацией, с его армией и тайной полицией? Так так и говори. А я тебе – не „мы“. У меня, знаешь ли, свои „мы“, и ты, во всяком случае, в их число не входишь».

Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы. С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь.

И с этим вполне можно жить и дальше, если только признать со всей определенностью, что все мы просто говорим на разных языках. Что все мы включены в совершенно разные языковые конвенции, внутри каждой из которых существуют свои понятийные приоритеты и смысловые иерархии. Ну что ж – значит, все есть так, как оно есть. Так, видимо, и будет.

[Ксенофобия] Бабушкины сказки

Ну да, согласен: все давно ясно и понятно. Давно ясно и понятно, что большинство социальных и экзистенциальных драм и трагедий так или иначе связаны с темным ужасом перед «другим». Давно ясно, что мучительное преодоление этого ужаса, принимающего самые разнообразные облики – от стремления спрятаться в глубокую нору до стремления убить и захватить, – это и есть человеческая история, история взросления человека и человечества. Ясно ведь, что ксенофобия – «давно разоблаченная морока» для всех тех, кто принадлежит к современному миру не на уровне умения нажимать на клавиши компьютера, а на уровне укорененной способности устанавливать адекватные

причинно-следственные связи между бытовыми, социальными, культурными и какими еще угодно явлениями. Давно известно, что боязнь «чужого» свойственна в основном носителям архаического, традиционного, сельского сознания. В нашей стране городская культура (а городская культура по определению космополитична) сложилась относительно стран Европы или Америки сравнительно недавно, а потому многие жители российских городов психологически продолжают быть деревенскими жителями. Отсюда – бесконечные ребячьи драки моего детства по территориальному принципу («наши» против «зареченских»), отсюда же – нынешняя неприязнь к восточным торговцам арбузами и хурмой. Такие проявления ксенофобии легко объяснимы, а потому преодолимы в исторической перспективе – все-таки город в его европейском понимании все равно рано или поздно победит деревню.

А есть еще род ксенофобии не просто крестьянского, а конкретно холопского происхождения – и с этим дело обстоит куда хуже. Это если и лечится, то с очень большим трудом. Особенно если у «лекарей» нет никакого желания никого ни от чего лечить. Более того, налицо вполне отчетливая тенденция, в соответствии с которой эту болезнь принято считать здоровьем.

Неохолоп с равной непринужденностью готов и унижить, и быть униженным. Он презрительно относится ко всем, кто на него не похож, особенно если этот непохожий менее его социально защищен. Он любит бить лежачего. Он презирает свободу и людей, полагающих свободу базовой ценностью. Презирая цивилизованный мир за то, что он состоит «из одних лохов», он не прочь попользоваться его плодами. Всяческую вежливость, готовность признать право другого на отличное от твоего мнение, готовность поблагодарить и извиниться он полагает признаком социальной подчиненности. А уважение его может вызвать только «крутизна».

Он готов рвать на себе рубаху, защищая право своего барина казнить и миловать, но никогда за своего барина не пойдет не только на смерть, но даже на мордобой. По крайней мере, в одиночку. Он – абсолютное порождение советского инкубатора, но любит считать нерусские фамилии в списке тех, кто этот самый инкубатор для него соорудил. Это тоже понятно: его духовные предки так же, как и он, предпочитали, чтобы их драли на конюшне не какой-нибудь басурман, не немец-управляющий, а свой, родной, местный – с государствообразующей фамилией и мягким славянским обликом.

Число «чужих» все множится. В наши дни в наибольшей степени «чужими» объявляются, как правило, все те, кто злостно и, разумеется, по наущению внешних врагов нашей нерушимой государственности норовит поставить зеркало перед властью и обществом.

Можно резюмировать, что ксенофобия во всех ее проявлениях есть неотъемлемое свойство исключительно дурных, тупых, недобрых или богом обиженных людей. Это соблазнительно, но это не всегда так. Все сложнее, а

потому и печальнее. Все сложнее, а потому и не кажется безнадежным. И вообще – теории теориями, а истина, как известно, конкретна.

Вот напоследок два как бы симметричных сюжета, героинями которых являются соответственно обе мои бабушки.

Одна из них, мамина мама, весьма малообразованная, очень набожная, очень тихая и очень добрая женщина, была, представьте себе, русофобкой. Не в том смысле, в каком это слово принято употреблять в наши дни. В наши-то дни слово «русофобия» применяется в основном по отношению к тем, кто испытывает разной степени неприязнь или недоверие к тем или иным властным учреждениям, например, к тайной полиции, каковая – в представлении самих деятелей этого славного учреждения – есть соль, душа и мозг великого и многострадального русского народа.

Но бабушка моя была русофобкой в самом буквальном смысле этого слова – она боялась русских. Человек своего времени и своей вполне местечковой среды, она не умела отличать русских от русских. «Русские» в ее представлении – это были те, кто раза четыре на протяжении десяти лет врывались в ее дом и в дома ее соседей, выносили стулья, чашки и деньги и требовали благодарности за то, что никого не убили. Тут не убили, там убили – всякое бывает. Погром – это вам таки погром, а не свадьба. Ничего не поделаешь.

Так что бабушка, будучи, повторяю, человеком редкой доброты, деликатности и отзывчивости, боялась русских. Боялась тайно, скрытно, ничего никогда и никому не говоря на эту тему. Но было понятно: она боится. Всех. Включая моих дворовых друзей и одноклассников, с утра до вечера болтавшихся в нашем доме. Включая соседей. Соседи были разные. Некоторых из них вполне смело можно было бояться.

Среди соседей была немолодая бездетная пара. Помню их фамилию – Фомины. Сергей Александрович был отставной летчик. Он очень много возился со мной, учил отличать бомбардировщик от истребителя и заставлял по утрам обливаться холодной водой и обтираться мохнатым полотенцем. Он был весельчак и анекдотчик. Елена Илларионовна была просто очень хорошим человеком, умевшим к тому же изготавливать столь волшебных свойств «наполеон», что вкус его я помню до сих пор.

С этим семейством у моей бабушки установился особый душевный контакт. Она любила их почти так же, как свою многочисленную «мишпуху». Она делилась с Еленой Илларионовной заветным рецептом форшмака. А ведь и не каждому еврею бабушка поведала бы эту тайну.

И многие годы ее мучило сомнение: нет, не может быть, чтобы такие прекрасные люди были русскими. Поэтому время от времени она осторожно расспрашивала то его, то ее на предмет тайны их истинного происхождения. «Берта Борисовна, – смеялась всякий раз Елена Илларионовна, – ну честное слово, я не еврейка. Я бы не стала скрывать, я ведь ничего в этом дурного не

вижу. Есть повсюду хорошие и плохие люди, вы согласны?» Бабушка вроде бы соглашалась, она говорила «Ну конечно», но при этом многозначительно вздыхала, что означало: «Ну хорошо – не хотите говорить, не надо».

Вторая моя бабушка во время эвакуации попала в небольшое село в Западной Сибири. Там она сняла угол в избе простой, работающей, но очень бедной семьи. Приняли ее вполне сердечно и вскорости стали воспринимать ее – легкую, отзывчивую и хозяйственную – как члена семьи. По вечерам семейство усаживалось за бедный, но вкусный ужин. Хозяева принимали по паре стаканчиков самогона, и начинался неторопливый разговор. Про войну, про хозяйство, про «паразитов-партийных», про колхоз, будь он неладен. Бабушку не опасались, считали своей.

Рано или поздно разговор сворачивал в сторону евреев, каковых в этом селе сроду никто не видел. «Евреями» в этих разговорах были некие мифические существа, наделенные полным набором inferнальных свойств. Этот самый «еврей» запросто мог, на манер лешего, навсегда утащить тебя в лес, а мог, как русалка, и защекотать тебя до смерти. На многое был способен еврей. Не убережешься – беда.

Однажды бабушка, в основном молчавшая, решила встрять в разговор. Она сказала: «Нюра, вот вы тут все говорите про евреев. А ведь я, между прочим, тоже еврейка». Судя по всему, лучшей шутки хозяева прежде не слышали никогда, поэтому от дружного хохота долго не могли произнести ни слова, а только безвольно махали руками. Первой отсмеялась Нюра и, вытирая слезы, сказала: «Ой, не могу! Сама себя еврейкой назвала. Мосевна, ты что ж такое говоришь! Ты ж хороша баба, хоть и городска! Кака ж ты еврейка-то! Ну насмешила! Я прям чуть не обоссалась!»

[Ксенофобия] Нетрадиционные танцы

Преступления и столкновения на почве межэтнической неприязни, имеющие место в больших и малых городах страны, стали, увы, вполне рутинным фоном нашего социального существования. К этому, что ужаснее всего, начинают привыкать.

Начинают привыкать и к вальяжным телерассуждениям о «своем уставе в чужом монастыре», о том, что приехали, мол, к нам сюда, так извольте уважать местные традиции и обычаи.

Вроде бы ничего такого уж особо криминального в такой риторике нет.

Ничего криминального в этом нет, если принять за аксиому тот факт, что страна живет вовсе не по конституционным установлениям и не в соответствии с уголовно-процессуальным правом, равно обязательным для всех, а именно что по обычаям да традициям, по пословицам да поговоркам, по былинам да частушкам, по шуткам да прибауткам.

Именно так живут некоторые племена бассейна Амазонки или Конго. Кстати, подобные им общества раньше назывались «дикарскими», в наши же политкорректные времена они именуется «традиционными».

Так живут некоторые сообщества, например, криминальные, где «обычай и традиции» принято называть «понятиями». Так живет мафия. Так жили в русских деревнях, в сибирских чумах, в казачьих станицах, в староверских скитах, в еврейских местечках, в горных аулах, в цыганских таборах.

Но так не жили и не могли жить большие города Старого и Нового Света, во все времена служившие плавильными котлами для множества разнородных традиций и обычаев – этнических, сословных, профессиональных, конфессиональных – любых. При хорошо настроенной общественной регуляции большой город – полифония культур и традиций. При плохо настроенной – какофония.

Человек, волею биографических или социально-психологических обстоятельств не выдерживающий сложности и многоцветности окружающей его городской жизни, не в силах и не вправе требовать того, чтобы с его глаз немедленно убрали долой все то, что разрушает его монолитный и монохромный утробный мир. Он и не требует. Он просто уезжает из города. Человек, не выдерживающий соседство человека, радикально не похожего на него, должен поселиться в тихой орловской деревне, где все будут выглядеть, говорить, действовать, пить, петь и танцевать точно так же, как и он сам.

Для многих, скажем, американцев Нью-Йорк с его информационной перенасыщенностью, культурной и бытовой неразберихой, уличным разноязыким гамом и прочими гей-парадами представляется местом кошмарным, сатанинским, адским, непригодным для жизни. Они именно так воспринимают огромный современный город, и поэтому они отказываются в нем жить. И не живут.

Так, и только так могут решаться проблемы «обычаев и традиций». Но это ладно, это Америка, нам, как известно, не указ.

Ну хорошо. Давайте все же допустим, что в том или ином большом городе России существуют какие-то такие традиции и обычаи, которые куда правильнее, человечнее, благороднее и изящнее общих для всех законов и каковы приезжому человеку неплохо бы если уж не соблюдать, то хотя бы уважать. Кто-нибудь может мне назвать хотя бы два-три таких обычая? Хотя бы две-три такие традиции?

В середине нынешнего лета в центре Москвы произошла одна из молодежных разборок в таком, с позволения сказать, жанре. В этот раз, по сообщениям информационных агентств, «драка произошла из-за того, что кавказцы стали танцевать лезгинку у памятника героям Плевны». Что тут скажешь – трудно найти повод более очевидный.

Танцевать лезгинку на столичной площади – это возмутительно, и с этим

невозможно не согласиться. Судите сами: только местные наши парни и девчата затеяли завести на этом традиционном месте свой традиционный среднерусский хоровод, а тут – здрасте: лезгинка. Более вопиющего небрежения к обычаям и традициям коренных племен, испокон веков населяющих берега здешних рек и озер, по преступной халатности носящих отчетливо некоренные, а именно финно-угорские названия, трудно себе и вообразить.

И ведь нет, чтобы традиционным образом пописать посреди улицы, или украсить строительные заборы традиционными, проверенными временем лексико-фразеологическими образцами коренного фольклора, или бабахнуть традиционную петарду перед носом гипертонической пенсионерки, или – в крайнем случае – освежить традиционную рвотную лужу посреди вагона метро.

Так ведь нет же! Лезгинка, понимаешь! Танцы, бля! Кавказские, между прочим!

Что может быть оскорбительней для чувствительной души государствообразующего человека, чем созерцание нетитульной пляски в самом сердце титульного города.

А может быть, все куда проще? Может быть, просто станцевали плохо? Без огонька, без задора, без пластической изобретательности? Может быть, и так – я-то ведь сам не видел.

Кстати, с танцевальным искусством в нашей стране и раньше были серьезные проблемы. И раньше имели место бурные эксцессы, связанные с древним, как само человечество, искусством танца. Я помню, как в конце 50-х моего старшего брата чуть не выгнали из института за то, что на новогоднем институтском вечере он «на пару с одной чувихой сбацал рок-н-ролл».

Все-таки не выгнали – он как-никак был отличник. Но в комитете комсомола им с чувихой долго и убедительно разъясняли, насколько это североатлантическое кривляние, именуемое танцем, чуждо нашим славным хореографическим традициям. Выговор все же вlepили, но с причудливой, чисто эстетской формулировкой: «за искажение рисунка танца». Видимо, там, в комитете этом, засел какой-то рьяный балетоман. Про «традиции» в выговоре ничего не было, только про «рисунок танца».

Так вот я и думаю: может, и пляшущие кавказцы как-то особенно грубо нарушили этот самый рисунок? Наши пламенные борцы с нелегальной иммиграцией совокупно с примкнувшими к ним борцами с иммиграцией легальной давно и заслуженно славятся своей повышенной эстетической чувствительностью.

Так это или не так, но факт есть факт: не живет и не может жить «традициями и обычаями» современная страна, где главным инструментом социального регулирования должен служить все-таки закон, а разные обычаи да традиции наравне с мифами, легендами, былинами, пословицами, поговорками, поверьями, народными приметами, сонниками, бабушкиными сказками и

прочими суевериями служат объектами пристального и вполне законного интереса со стороны этнографии, фольклористики, лингвистики, литературы, искусства и ресторанного бизнеса.

Впрочем, время от времени давно и плотно размещенные по музеям, библиотекам, университетам и прочим центрам народного творчества «обычай» вдруг сбегает из клетки, и тогда бывает так, что дело кончается либо терактом, либо погромом.

Однажды я оказался в Берлине в те дни, когда на восточной окраине города был совершен поджог общежития, где обитали в основном выходцы из Азии. Имелись жертвы. Таким образом заявили о себе мутные, дремучие, крошечные «обычай».

Впрочем, на следующий день в центре города собрались примерно полмиллиона берлинцев, выступивших против фашизма и ксенофобии. На митинге выступали многие, в том числе и бургомистр. Это событие обсуждали на всех телеканалах и во всех газетах.

Но это было в Берлине, далеко, отсюда не видно.

[Мифы] Скверный анекдот

Когда-то, очень давно, в середине 70-х годов на крымском пляже ко мне подошел молодой человек и спросил, не москвич ли я. Я подтвердил его догадку. Тогда он мне сказал: «Слушай, мужик! Как же нас тут зае...ли эти ваши съезды и пленумы!» Я ответил, что меня – еще больше. «А х...ли тогда?» – не вполне логично, но убежденно сказал он. Ответить мне было нечего.

Точно так же, как нечего мне ответить всем тем, кто склонен разделять человечество лишь на две части – на «нас» и «вас», на «нас» и «их».

Понятно, что любой человек, если он не аутист, не может существовать без социальной идентичности, что у каждого есть свои «мы». Есть они и у меня. Мои «мы» – это круг людей, объединенных совокупностью тех или иных социально-культурных конвенций. «Свой» для меня – это тот, кому кажется смешным то же, что и мне, и то же, что и мне, представляется прекрасным или ужасным.

Чем больше у человека этих «мы», тем содержательнее его существование, тем оно сложнее, драматичнее, веселее. Можно одновременно говорить про себя «мы, врачи», «мы, любители футбола», «мы, лютеране», «мы, меломаны» и, наконец, «мы, датчане» и «мы, рыжие». Беда, если число конвенций ограничивается одним пунктом. Это всегда чревато сектантством со всеми вытекающими последствиями. Я знал одного художника, который говорил иногда что-то вроде того, что «мы, анималисты, привыкли закусывать водку горячим борщом». Причем, говоря это, он вовсе не шутил – смешно было всем, кроме него.

И совсем беда, когда пресловутое «мы» апеллирует к обстоятельствам, в которых персональная человеческая воля не участвует ни в малейшей степени, – к обстоятельствам «крови и почвы». Эта конвенция самая легкая, самая соблазнительная, самая архаичная и дремучая. А потому и самая заразная. А потому и самая крошечная в своей разрушительной потенции.

После каждой своей публикации в «Гранях» я обреченно заглядываю в форум. Я уже знаю, что там будет. Вообще-то там будет разное – слова дружеской поддержки, более или менее конструктивная критика формы или содержания текста, согласие-несогласие с теми или иными соображениями, примеры из собственного житейского опыта, мелкое хулиганство сетевой шпаны, малограмотные рассуждения «за жизнь», хамоватое похлопывание по плечу и всякое прочее. Но и обязательно нечто другое – вопросы. Вопросы, не только не требующие, но и не предполагающие ответов. Вопросы типа: «Почему вы все так не любите все русское?» Понятно, да? Вопрос относится не ко мне лично, а к «нам всем». Ответа на этот вопрос нет и не может быть даже в том случае, если бы вопрос этот был обращен персонально ко мне. Не могу же я отвечать вопросом: «А где это вы вычитали, что так уж я и не люблю?» Меня же не об этом спрашивают, не о том, люблю я или не люблю. А спрашивают меня о том, почему именно я не люблю. А уж отвечать за «всех нас» и вовсе абсурдно. Точно так же, как довольно абсурдно пытаться играть в шахматы с человеком, знакомым лишь с правилами игры в городки.

Я помню, как в годы перестройки я зашел выпить кофе в знаменитый буфет Дома литераторов. Взял кофе. Сажу, пью, читаю книжку. За соседним столом уютно дремал, подстелив под небритую щеку бутерброд со шпротным паштетом, какой-то неведомый мне литературный работник. В какой-то момент он приподнял голову, посмотрел на меня покрасневшими от творческих исканий глазами и обратился ко мне с «проклятым» вопросом. «Долго вы нас еще мучить-то будете?» – со слезой в голосе спросил он и, не дожидаясь реакции, снова углубился в заслуженный отдых.

А еще мне нравятся вопросы типа: «До каких пор эти рубинштейны будут указывать, как нам жить в своей стране?»

Подобного рода вопросы, как уже было сказано, не предполагают ответов. Гомогенность и нерасчленимость этой, с позволения сказать, картины мира не терпит даже малейшего воздействия извне – в противном случае ей грозит тотальное и непоправимое обрушение. Но однажды на вопрос про «рубинштейнов» я все-таки ответил. Причем ответил вопросом на вопрос. Я спросил: «Вы, простите, о каких именно Рубинштейнах? О моей семье или обо всех моих однофамильцах? Входят ли в число упомянутых вами Рубинштейнов те два брата, которые основали соответственно Московскую и Петербургскую консерватории? А знаменитый психолог Сергей Леонидович Рубинштейн? А великий пианист Артур Рубинштейн? Вы о ком все-таки?» Ответ был лапидарен:

«Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю». Да понимаю я, понимаю – не маленький. Но и не задать этого вопроса я тоже не мог. А еще по поводу «рубинштейнов» мне сразу же вспомнился старый анекдот про двух сибирских мужиков, которые долго и сосредоточенно парились в бане. В какой-то момент один из них прервал гробовое молчание и сказал: «Нехорошо это, Степан. Ох, нехорошо». – «Чего нехорошо-то, Егор?» – спросил второй. «А то нехорошо, что ты к моей Наталье ходишь». – «Ну, вас, Фроловых, не поймешь! Наталья говорит, что хорошо. Ты говоришь, что нехорошо».

Анекдот этот прекрасен и сам по себе. Но прекрасен он еще и тем, как единым махом он, как в узком, так и в широком смысле, деконструирует угрюмую формулу «муж и жена – одна сатана». Та же история, в сущности, и с «рубинштейнами».

Миф с течением истории преобразуется в предание, предание – в сказку, сказка – в анекдот. Но беда, если анекдот норовит снова стать мифом, то есть истиной, не требующей доказательств. А еще пушая беда, если анекдот, возмнивший себя мифом, становится идеологическим мейнстримом общественного бытия, не говоря о сознании. А ведь именно это мы и наблюдаем все чаще и чаще – то в речах кремлевских затейников, то в глубокомысленных теледебатах, то в сетевых блогах, то на улицах маленького карельского города.

Что можно этому противопоставить, кроме иронической дистанции, кроме спокойной и твердой убежденности в том, что анекдот, даже скверный, – это всего лишь анекдот. В общем-то больше нечего, но этого, поверьте, немало. Надо помнить, что тупая звериная серьезность и веселый непредвзятый взгляд на мир несовместимы. Воспользуемся хотя бы этим.

[Монументы] Фантомная головная боль

Я не очень, честно говоря, понимаю, что происходило и происходит в эти дни в Эстонии. Слишком мало информации. А какая есть – весьма противоречива. Все мои эстонские знакомые – а это, как правило, люди моего круга и близкого мне образа мыслей – дружно уверены в том, что власти повели себя вопиюще глупо и мелочно. Что полиция оказалась совсем не готовой к такому повороту событий и поэтому вела себя не очень, мягко говоря, адекватно. Что на многие социальные проблемы правительство смотрело сквозь пальцы, а потому стали возможными погромно-мародерские эксцессы на улицах Таллина. Они говорили, что происходившее в Таллине – это не межэтнические столкновения. В Эстонии живет большое количество русскоговорящих, вполне интегрированных в эстонскую и, соответственно, европейскую жизнь. Но есть и много таких, которые не могут найти себя в новой жизни. Они-то и подвержены тяжелым постимперским комплексам. Они-то и бузят. Им в общем-то все равно, «что тот солдат, что этот». Это лишь повод. Не было бы этого, был бы другой.

Еще они говорили о традиционном протестантском менталитете большинства эстонцев, которые никак не в состоянии понять, что для кого-то портрет бабушки и сам бабушка – это одно и то же. Им решительно непонятна та буря страстей, которая может разгореться из-за того, что портрет перевесили из гостиной в спальню. Им совсем непонятна логика восточных соседей, которые проявляют такую пылкую любовь к «отеческим гробам» за рубежами своей родины при том, что у себя содержат эти гробы в постыдном небрежении.

Ну, это-то непонятно не только им. То, что творится в эти дни у нас, кажется подчас тяжелым горячным бредом. Вроде бы мы уже и привыкли к тому, что – как выразился однажды мой приятель – «наша мама сумасшедшая». Но нет, остатки спасительного здравого смысла всякий раз сопротивляются рутинному опыту.

На днях я проходил мимо Калашного переулка, где уже который день тусуется кодла юных питомцев кремлевского вивария под чутким руководством дяди Васи, общепризнанного нравственного камертона нашего гражданского общества. Они пикетируют здание эстонского посольства.

Подойдя поближе, я стал свидетелем тщательно импровизированного, но не чересчур страстного митинга. Кудрявая барышня в центре композиции хорошо поставленным голосом выпускницы какого-то культурно-массового учебного заведения выкрикала какие-то речовки, которые тут же подхватывала толпа одетых в фабричного пошива униформу юношей и девушек. «Чемодан, вокзал, Таллин!» – кричала девушка. «Чемодан, вокзал, Таллин!» – вторили остальные. Мне понравилась речовка «Марина, не позорь русское имя!». Хорошее и к тому же исконно русское имя Марина, как я понял, – это имя эстонского посла.

На стене дома висел плакат загадочного содержания. На нем было начертано: «Демонтаж фашистского посольства Эстонии». Уж извините за столь неуместный в этот поистине исторический момент педантизм, но и содержание, и форма этого плаката вызывают очень много вопросов.

Сначала про «демонтаж». Что имеется в виду? Демонтаж здания, что ли? Этого красивого, в стиле модерн, особняка? О нет! Только не это! Я, разумеется, понимаю, что завезенным из Липецка и Рыбинска пламенным юным антифашистам совершенно по барабану, будет стоять в центре моего родного города прекрасное здание или нет. Но мне-то, москвичу, каково? Или речь идет о переносе посольства в другое помещение? Тогда при чем здесь демонтаж? Кто объяснит?

А кто объяснит, что означает словосочетание «фашистское посольство»? Впрочем, понять, почему шипящее, как «Советское шампанское», слово «фашизм» выдвинуто поближе к началу лозунга, легко. По законам рекламного искусства ключевое слово должно быть поближе к началу, иначе оно не запомнится. Идея верная, но не доведенная до логического завершения. Ибо по этой (и не только по этой) логике должно было бы быть написано так:

«Фашистский демонтаж посольства Эстонии». Тогда было бы хотя бы понятно, о чем идет речь. А то – ни туда ни сюда.

Впрочем, даже в этом случае сильного эффекта не получится. Слово «фашизм» давно уже потеряло какие-нибудь значения, кроме того, что это просто такая бяка-заколяка ползучая. Слова «фашизм» уже, считайте, нет. Во всяком случае, в том значении, в каком оно обычно употреблялось в ушедшем XX столетии. Если существует «фашистское посольство» демократического государства, то это значит, что могут вполне себе существовать «фашистский кабинет директора школы», «фашистский пивной ларек» или, допустим, «фашистская сущность антифашистского движения». Что, впрочем, мы и видим все чаще и чаще. В трескучей квазиантифашистской риторике нашего агитпропа «фашизм» и «антифашизм» находятся не по разные стороны баррикад, а по разные стороны знака равенства.

То, что происходит в Эстонии, и то, что происходит у нас, вещи на самом деле не слишком связанные между собой, как это ни кажется странным. В Эстонии есть проблемы. Серьезные проблемы. И у них это очень хорошо понимают. Но самое главное, что это исключительно ИХ проблемы, и они их решат, я уверен. Была бы воля. А она есть.

Наши-то проблемы куда серьезнее.

Известно, что постимперские страны подвержены фантомным болям. Первое время свербят и ноют отсеченные органы: рука, нога, ухо, палец. Потом это проходит. А у нас что болит? Все чаще за последнее время начинает казаться, что мы имеем дело с фантомной головной болью. Ох, хорошо бы ошибиться.

[Народ] Что вы делаете днем?

В одном из недавних социологических опросов, проведенных в Германии, был и такой вопрос: «Какие из слов немецкого языка вызывают у вас резко негативные эмоции?» В первой десятке оказалось слово «Das Volk» – «народ». Немцев понять можно, у них специфическая, скажем так, история. И так уж получилось, что слово это ассоциируется в первую очередь понятно с чем. Теперь живут себе как-то без «народа», и вроде бы ничего живут. Ну а у нас-то история вовсе не специфическая. То есть она, разумеется, специфическая, но в исключительно высшем смысле этого слова. Называется наша история, чтобы вы знали, «особый путь».

Сколько помню себя, столько же и слышу слова «народ хочет, народ не хочет, народу понятно, народу непонятно, народ одобряет, народ не одобряет, народу нужно такое искусство, народу такое искусство не нужно». И вообще – «народ и партия едины». Слово это было привычным, и мало кто задумывался над его значением. Ну, народ и народ. Куда ж без него?

Слово «народ» – крайне удобное для всяческих пропагандистских нужд.

Слово звучное, слово емкое, слово мифологически насыщенное. У него есть всего один недостаток – никто не может толком объяснить, что это слово значит. Впрочем, почему недостаток? Скорее – достоинство, если учесть, что пропагандистскому дискурсу ужасно вредят слова семантически обеспеченные.

Для советского человека слово это при всей зыбкости его значений являлось «объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях». Особенно острыми бывали наши ощущения тогда, когда слово «народ» употреблялось в составе брутального словосочетания «враг народа». Но ощущения эти заметно притупились в позднесоветские годы, когда плакаты со словами «Да здравствует великий советский народ – строитель коммунизма» вешались где попало, а чаще всего там, где обшарпанность стен вдоль правительственных трасс могла оскорбить нежный взгляд того или иного из «слуг народа». А чего? Не штукатурировать же! Народ все собой прикроет.

Нет, я не стану утверждать, что слово это вовсе не имеет значений. Как можно говорить такое о словах, включенных в толковые словари? Никак нельзя. Мне, например, примерно понятно, что имел в виду Андрей Платонов, написавший о том, что «народ без меня не полный».

Это понятно. Но что под словом «народ» понимают те, кто употребляет это слово в качестве риторического джокера? Те, кто без этого слова не может проговорить ни одной минуты. Те, кто всегда точно знает, что народ хочет, а чего нет. Уж явно не то, что Андрей Платонов. А что тогда?

Все время получается так, что «народ» у них – это вовсе не совокупность граждан, объединенных общими культурой и языком, а некое внеположное человеку мифическое чудище, властно требующее обильных жертвоприношений, в том числе и человеческих.

Только поняв это, и можно понять, что имеет в виду человек, который говорит, например, такое: «Вот вы тут все критикуете, всем-то вы недовольны, все-то вам не нравится, а народ, между прочим, вполне всем доволен». Что на это ответить? Что «вы еще не весь народ»? Что я, мол, тоже народ? Или, пуще того, что «нет, народу тоже далеко не все нравится»? Ни в коем случае. Жалкий лепет оправдания. Верный ответ прост: народ, может, и доволен, а я вот – нет. Вот и все.

Люди делятся на две неравные части – на тех, кто имеет имя, фамилию, возраст, пол и профессию, и тех, кто не мыслит себя вне коллективного тела. Этих, последних, разумеется больше. Но последнее слово всегда за первыми. Добровольный отказ от персональных признаков – серьезная экзистенциальная проблема. Я знал даму настолько подавленную величием своего мужа-писателя, что она, знакомясь с кем-нибудь, всякий раз, не называя своего имени, представлялась как «жена писателя такого-то». Однажды какой-то не очень вежливый шутник поинтересовался: «Ну, это понятно, а что вы делаете днем?»

Действительно интересно, что «делают днем» все те, кто никогда ничего не

говорит от собственного имени. Только от имени страны, только от имени поколения, только от имени народа. Похоже, что ничего они днем не делают.

С теми, кто якобы знает о том, что «народ хочет», а чего «народ не хочет», говорить решительно не о чем. Не знаю, кто как, но я предпочитаю разговаривать и спорить не с «народами», а с людьми. Да, согласен, в нашей стране много, может быть, слишком много людей, для которых такие понятия, как «свобода» или «личное достоинство», суть пустые звуки или, пуще того, вредоносный импорт. Ну и что с того? Историю же все равно делают не они. Историю не могут делать те, кто отрицает саму историю. Историю движет деятельное творческое меньшинство. Это медицинский, как говорится, факт. И никакие «народы» ровным счетом ничего тут не решают. Решает все только внутренний выбор каждого из нас.

Не будем, друзья, употреблять бессмысленных слов. Не надо мыслить ничего не означающими категориями. Пусть ими пользуются жрецы идеологического фронта – они иначе не умеют. Людей же для них нет, для них есть только безличный «народ», который раз в четыре года переименовывается в «электорат».

А мы – люди. И давайте жить своей жизнью, не теряя способности отличать верх от низа, правого от левого и добро от зла. И не надо соотносить свои собственные судьбы с их вертикалями и прочими собачьими свадьбами. У них там свои дела, а у нас тут свои. Пока есть хоть минимальная возможность, надо думать что хочешь, говорить как хочешь и поступать сообразно со своими жизненными принципами и со своими представлениями о том, что правильно, а что нет. А когда такой возможности нет, то за нее надо бороться всеми доступными нам средствами. А народу пусть поклоняются те, кто склонен к сотворению кумиров.

[Начальство] Еще раз про любовь

О любви немало песен сложено. Она – не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Она – не картошка, это проверено веками горького и сладкого человеческого опыта. У нее, как у пташки, крылья – ее нельзя никак поймать. А поймаешь – берегись. Она повсюду, где гнездится человек.

Любовь бывает разная. И разные бывают любви. Бывает любовь прекрасная и бескорыстная, возвышающая душу и высвобождающая небывалые, запертые на семь замков возможности человеческого духа. Бывает любовь слепая, глухая, парализующая волю. Любовь бывает зла, да еще как. Бывает она облой, огромной, стозевной и Слиской. Всякими бывают любви и Любви.

Есть и еще особый род любви.

Любовь вообще иррациональна, иначе она никакая не любовь, а лишь

холодный расчет. Но эта иррациональна как-то особенно. Я имею в виду любовь общественности к родному государству. Любовь к государству – кормильцу, поильцу, радетелю и заступнику – можно было бы трактовать как любовь сыновне-дочернюю, если бы в проявлениях этой любви не было бы столь заметно наличие ярко выраженной эротической составляющей. Ведь что наша общественность особенно горячо и трепетно любит в родном государстве? Особенно горячо и трепетно любит она самое в нем сакральное, самое срамное, сулящее ужас и восторг. Она любит его органы. Ну да, те самые органы, о которых вы и подумали, – органы государственной безопасности.

Любовь безрассудна, а поэтому что нам за дело до того, что мы знаем об этих самых органах. Что нам за дело до того, что эти органы во все времена были концентрированным средоточием всего самого подлого и жестокого, что только можно было набрать по сусекам необъятной нашей Родины. Ну и что? «А он мне нравится, нравится, нравится, и для меня на свете парня лучше нет», – как пела, по другому, впрочем, поводу, певица Анна Герман.

Когда органы, как это и полагается органам, были скрыты от нескромных взоров граждан, то и любовь к ним носила потаенный и застенчивый характер. Теперь органы обнажились во всем своем великолепии, с непринужденностью взяли на себя функции всех прочих уставших членов, и любовь к любимым органам приняла поистине оргиастический характер.

Влюбленному свойственно иногда настолько отождествляться с объектом своего обожания, что он старается угадывать его мысли и присваивать их себе. Он начинает бредить от его имени. Когда я где-нибудь слышу или читаю что-то такое вроде «мы не должны позволить, чтобы Косово...» или «а здорово мы все-таки отделали Кондолизу», я все время думаю о том, что же мне это так мучительно напоминает. Нет, это, пожалуй, не чеховская Душечка с ее «мы с Ванечкой», это что-то другое. Потом я понял. Это же типичный разговор в людской. «А мы на зиму, как всегда, перебираемся в Париж». «Мы вчерась давали ужин на двести персон, о как!» «К нам, промежду прочим, и великие князья захаживают». «Мы, уж извиняйте, нашу барышню за кого попало не отдадим».

И такая бывает любовь.

Любовь к власти редко носит индивидуальный характер. Любовь к вождям слабо мыслима в одиночестве, в ночной тиши. Индивидуальная любовь такого рода чревата, как правило, клиническими последствиями – недаром во все советские времена психиатрические заведения кишели сменяющимися друг друга невестами Ленина, Сталина, Брежнева и других ответственных товарищей. Нет, любовь к власти должна быть коллективной. Ибо такая любовь свойственна не столько физическим лицам, сколько коммунальным телам.

В абсолютно карикатурной, а потому и в особенно наглядной форме таковая любовь выглядит в исполнении дураковатой шпаны под названием «Наши». Их

массовая любовь принимает форму театрализованной групповухи, довольно неряшливая режиссура которой легко компенсируется количественным фактором. Кое-кто из скептиков (а такие, готовые цинично обсмеять все самое святое, еще, увы, не перевелись в нашем устремленном в будущее обществе) утверждает, что любовь этих «беспокойных сердец», на скорую руку выведенных на живописных берегах Селигера, не вполне бескорыстна. Вот уж чего нет, того нет! Какая корысть, подумайте сами. Помните анекдот: «Ньюрк, ты как даешь, по любви или за деньги?» – «Да конечно по любви, разве ж три рубля – это деньги?»

Так что по любви, по любви, не сомневайтесь, малOVERы!

Что можно сказать влюбленному без памяти? Ничего ему не скажешь. Можно за него порадоваться. Можно над ним пошутить. Можно позавидовать. Можно подбодрить цитаткой «Люби, люби, пока любить ты рад». Можно изумиться его выбору. А можно за него и потревожиться: влюбленный ведь, покуда он влюблен, начисто забывает о том, что подстерегает его на расстоянии всего лишь одного шага от его великой любви.

[Наши] Крестовый поход детей

Вообще-то уже не очень, прямо скажем, смешно. Мягко говоря.

Когда читаешь, что они «потребовали отставки посла Великобритании в России Энтони Brentона за то, что он поддерживает оппозицию из „Другой России“», – это смешно. Когда читаешь о том, что «у здания посольства Великобритании в Москве выстроилось около 50 активистов с плакатами „Королева должна знать, куда тратятся деньги английских налогоплательщиков“», – еще смешнее.

Когда натыкаешься в информационном агентстве про акцию «нового молодежного движения „Мишки“, основанного активистами движения „Наши“», где собрались более тысячи детей в возрасте от 8 до 15 лет с лозунгом «Спасибо Путину за наше стабильное будущее». Поняли? За будущее уже благодарят. Товарищ Сталин не дотянул – его благодарили только за счастливое детство. Смешно? Смешно. А когда «более 1 тыс. активистов с буквами в руках составят обращение к Путину, в котором попросят его стать лидером движения „Мишки“, так как он самый главный „мишка“ России», вам не смешно? Мне что-то уже не очень.

У нас теперь есть просто «мишки», и это уже не конфеты с шоколадно-вафельной начинкой, а живые дети, которых ждет, как было сказано, «стабильное будущее». И есть у нас теперь главный мишка.

А мелкие мишки, мошки, блошки и вошки при поддержке разного калибра пешек и руководимые прошедшими в дамки шашками дружно пошли к британскому посольству, чтобы на манер репинских запорожцев отправить письмо британской королеве по поводу предосудительного поведения одного из

ее подданных. А чего, дело благородное. Они ведь не шакалят у посольств, как это может показаться человеку неподготовленному и политически незрелому. Шакалят совсем другие – вам ведь объяснили уже. У них, чтобы вы поняли, «акция». Патриотическая, между прочим. Антифашистская, если кто еще не понял. Кто не понял – объяснят.

К тому же нетрудно себе представить, как заждалась венценосная Елизавета Георгиевна писем от своих юных корреспондентов, таких милых, искренних и непосредственных. Маленьких таких непосед и почемучек. Вот ночей-то не спит, все думает: «Давно что-то нет весточек от маленьких российских чушек и ряшек. А без них как мне разобраться в вечных вопросах добра и зла? Неужто забыли старуху?» Все время вспоминается место из записной книжки Ильфа про то, что «Х. Иванов решил нанести визит королю. Узнав об этом, король отрекся от престола».

Ну, не сами же они все это придумывают? Есть же где-то какие-то дядьки в кабинетах, сочиняющие всю эту немыслимую байду и посылающие толпы альтернативно одаренных подростков, и без того ничем друг от друга не отличающихся, а для пущего неразличения еще и покрытых одинаковыми попонами с изображением главного мишки, то к одному посольству, то к другому, то поорать, то поскандировать, то похлопать в ладоши, то пошлепать губами?

И чего больше в этих дядьках или тетках – тупости или подлости? Полной социальной безответственности, полного забвения родной и мировой истории, инстинкта самосохранения, наконец, или холодного расчета? Хрен их знает. Неинтересно.

А интересно то, что по улицам моего родного города становится просто небезопасно ходить законопослушному человеку. Не далее как сегодня моя жена подверглась нападению этой гопоты, наглеющей все больше и больше.

И что, теперь эти мишки, сошки, букашки и какашки будут за меня решать, где мне ходить, а где нет? На что мне смотреть, а на что нет? Что мне фотографировать, а что нет? А может быть, им захочется поинтересоваться, о чем я думаю? Так я и сейчас могу сказать. Я и говорю. Я говорю: «Эй вы! Запомните. Москва – мой родной город. И я сам буду решать, где мне ходить, где мне не ходить и как мне на что реагировать. И так будет до тех пор, пока ваши крупные мишки не напишут новый закон, по которому у вас больше прав, чем у меня. Тогда и поговорим. А пока – знайте свое место».

Войну, как известно, легко начать, но очень трудно закончить. Особенно войну при фактическом отсутствии противника. Ужасно обидно, когда ты с хриплыми криками «ура» врываешься в населенный пункт, а там никого нет. Очень обидно выглядеть еще большим идиотом, чем ты и без того являешься. Если враг не сдается, его уничтожают. А если врага нет, его придумывают. Или назначают. Это дело не вчера возникшее. Собственно великая созидательная

деятельность той организации, из темных недр которой вышли все наши главные и второстепенные мишки, во все времена занималась именно этим. И всегда с огромным успехом и при горячей поддержке широких патриотических слоев охраняемого от врагов общества. Патриотический человек, как правило, горячо одобряет и поддерживает любые шевеления родных органов ровно до того момента, когда во враги попадает сам.

Нет, воевать так воевать. На войне как на войне. А то что же получается? Мы что, зря, что ли? А сколько материалу на лозунги пошло? А сколько красок? А речовки сколько репетировали? У нас же память сами знаете какая! А бабок сколько вбухано, наконец, на сопротивление оранжевой заразе? А они взяли да попрятались куда-то. Ну нет, так дело не пойдет. Все равно будем воевать.

Ладно, чтобы не получилось все же так мрачно и патетично, закончу анекдотом. Был такой в 70-е годы. О том, как якобы в Москве открыли официальный публичный дом. Там, как это и положено в любом советском учреждении, создали комсомольскую организацию. И вот на общем собрании директриса говорит: «Девочки. Среди нас есть одна некомсомолка, Люся Петрова. Давайте примем ее в комсомол. Хочешь, Люся, вступить в комсомол?» – «Нет, – говорит Люся, – я не могу. Мама не разрешит. Она и сюда-то не хотела меня отпускать».

[Ностальгия] Пронесли покойника

Заявленный на минувшее воскресенье «Имперский марш» был в последнюю минуту запрещен городскими властями. Почему сначала разрешили, а потом вдруг запретили? Чего забоялись? Впрочем, наши власти вообще в последнее время начали демонстрировать какую-то поистине стародевическую обидчивость и повышенную пугливость и стали тревожно вздрагивать при любом шорохе. Бог их знает, в чем там у них дело – нервы, наверное. Выборы, то, се...

Марша не было, был всего лишь митинг. Тоже красиво, как было сказано в одном старом анекдоте.

Человеку свойственна тоска. Кому-то – «тоска по мировой культуре», преобразующаяся, если повезет, в мощную и, что важно, свободно конвертируемую творческую энергию. А кому-то не дает заснуть тоска глубинно женственная по своей природе. Это тоска по чему-то крупному, мускулистому, пахнущему здоровым мужским потом – по чему-то такому, к чему хочется прислониться и забыться навек, бормоча сладкое слово «империя».

Г-н Дугин, один из главных наших имперцев, слывающий среди патриотически ориентированных граждан большим интеллектуалом (что, заметим попутно, не чересчур затруднительно в этой среде), анонсируя затеваемое предприятие, сказал: «Подавляющая часть гражданского общества России хочет маршировать к великой державе, сильному государству, к

возрождению нашей свободы и самостоятельности». Что ни слово, то «изумруд яхонтовый». Хороши представления о гражданском обществе. Под «гражданским обществом» понимается вовсе не сообщество граждан, уважающих закон и отстаивающих свое право требовать от властей всех уровней того же. Нет, зачем? «Гражданское общество» у них – это что-то вроде стада, объединенного неудержимым стремлением непременно туда-сюда маршировать. Напоминает старый анекдот, заканчивающийся словами: «Если вы, штатские, такие умные, что же вы тогда строим не ходите?»

Неплохи и рассуждения о «возрождении нашей свободы». О том, что в их понимании «наша свобода» и свобода отдельно взятого человека – вещи взаимоисключающие, говорить не приходится. Уже хотя бы потому, что речь явно идет не о свободе «для», а о свободе «от». В данном случае – о свободе от свободного мира.

Митинг был сработан в добротной эстетике захолустного ампира, слегка разбавленного элементами мутного постмодерна, столь ненавидимого нашими исконно-посконцами. Постмодерн был представлен несколько эзотерическими, но зато запоминающимися лозунгами типа «Наш сапог свят». Трудно предположить, что под «нашим сапогом» понимается какой-то конкретный левый или правый сапог. Скорее всего, имеется в виду все-таки сама идея сапога как универсального и наглядного символа имперского величия, если иметь в виду внешнюю сторону сапога, и традиционной нашей духовности, если речь идет о стороне внутренней. В общем, пес их знает, что они там имеют в виду.

Многие еще обратили внимание на столь же мрачноватый, сколь и требовательный призыв «Мертвый, вставай». Призыв, на мой взгляд, и правда выдающийся, причем независимо от того, сочинил ли его искушенный в интеллектуальных спекуляциях постмодернист или же полный идиот. Предположить в данном контексте было бы более естественно последнее, но ведь всякое же бывает в нашей жизни, не правда ли. Тем более что некоторые евразийские мыслители замечены в увлечении постструктуралистским, извините, дискурсом. Так или иначе, но «Мертвый, вставай» – сильная вещь. Ее откровенно саморазоблачительный пафос можно понять как тонкую до полной прозрачности интеллектуальную провокацию. А можно и еще как-нибудь. Но в любом случае – саморазоблачение налицо.

Налицо – сознательная или бессознательная апелляция к мертвому, сознательная или бессознательная воля к смерти. Говоря патетически, «мертвые хватают живых». А говоря проще, «мимо нашего окна пронесли покойника» и дальше по тексту.

Кстати, жаль, что так и не пронесли. Жаль, что марш этот так и не состоялся. Было бы смешно. И хорошо бы, чтобы еще один лозунг там был такой: «Империя, или смерть». Именно так, с запятой перед словом «или». Те, кто слегка разбирается в правилах пунктуации русского языка, поймет значение этой

запятой. Те, кто этого не знает, те и другого ничего не знают. Не знают они в том числе и того, что попытка заштопать мертвяка гнилыми нитками не приведет ни к чему, кроме того, что окончательно рассыплется все то, что от их дорогого покойничка еще осталось.

Вот они пусть и маршируют сколько влезет. Все равно ведь ничего не встанет.

[Оппозиция] Визги и брызги

Вы заметили, что с некоторых пор в публицистике державного, если можно так выразиться, направления невероятно расплодилось слово «визг» и все возможные производные от него? Дался им что-то этот «визг». Визжат, разумеется, не авторы этой самой публицистики. Они-то как раз разговаривают уверенным семинаристским баском, разговаривают степенно и неторопливо, прихлебывая чаек, попыхивая трубкой, поглаживая бороду и держа протяжные поучительные паузы. Они разговаривают как власть имущие, а не как книжники и фарисеи. Визжат, разумеется, их оппоненты, и еще как визжат. Они, эти наймиты и приспешники, чуть что не по нутру «их хозяевам», оглашают окрестности «истошными воплями». «Легко представить себе, какой истерический визг сейчас поднимут „общечеловеки“ по поводу всего лишь робкой попытки властей навести элементарный порядок». Так или примерно так начинается, как, впрочем, и заканчивается, то или иное программное выступление того или иного государственничащего литератора-полемиста.

Откуда, из какого прекрасного далека донеслись до них эти самые «визги»? Не знаю, кому как, но мне-то хорошо известно, откуда. Из советской прессы, разумеется. В ней, в советской прессе, тоже беспрерывно кто-нибудь визжал. Там визжали, например, адепты якобы свободного мира по поводу якобы нарушений якобы прав якобы человека в нашей великой стране. Визжали конгрессмены и сионисты. Визжали отдельные лица и целые организации. Визжали все те же приспешники и наймиты. Визжали «вражеские радиостанции». Ох, как визжали «вражеские радиостанции»! Перевизжать их, да и то не всегда, удавалось лишь гэбэшным глушилкам. В передовых статьях партийных газет враги всех мастей то бряцали, то визжали. А на карикатурах в тех же газетах они брызгали обильной слюной и тянули загребущие руки-крюки к огромному жирному пятну на географической карте. Пятно называлось СССР.

Впрочем, что нам были какие-то ихние визги и брызги? Великий Советский Союз, зажав уши и увертываясь от слюней, уверенно двигался вперед к окончательному решению всех и всяческих вопросов, пока вдруг в одночасье не развалился сам собой, немало изумив этим весь мир и прежде всего самого себя.

Но это, так сказать, история вопроса. Речь не об этом. Интересно, «откуда в этой графинечке», как высказался однажды по другому, впрочем, поводу Лев

Толстой, откуда, короче говоря, в несложных головах агитаторов нового призыва возник и зацвел этот самый агитпроповский «визг»?

Откуда? Они же ничего этого не помнят, как не помнят они вообще ничего. Они же пребывают в блаженной уверенности, что история отечества состоит всего лишь из двух основополагающих этапов: первый срок президента Путина и второй срок президента Путина.

Да и это не столь уж важно. Важно вот что. Дело в том, что некоторый визг и на самом деле имеет место. Да, это правда: риторическое поведение оппозиции бывает иногда нервным и крикливым. Систематически истребляя или развращая цивилизованную оппозицию, оперирующую взвешенными категориями, оппозицию, стремящуюся и умеющую говорить с властью на общедоступном языке и находиться с ней в состоянии равноправного диалога, власть сама плодит маргиналов. Готов согласиться с тем, что натужная, крикливая, неопрятная оппозиция столь же глупа и неприятна, как респектабельная, самодовольная, лоснящаяся любовь к начальству. Впрочем, нет, не так. Глупа так же. Неприятна так же. Но в гораздо меньшей степени опасна для душевного здоровья общества.

Согласен: когда пронзительно визжат, особенно над ухом, – это не всегда приятно. Как правило, не очень музыкально кричат, например, те, кого насилуют в темном переулке. Да, приходится признать: насилуемые не всегда ведут себя элегантно, ибо не всем, увы, дано в соответствии с классическим анекдотом расслабиться и постараться получить удовольствие. Некоторые визжат и царапаются. Да и выглядят они, прямо скажем, так себе – оборванные, растрепанные. Смотреть противно. Особо тонкие натуры не выдерживают такого безобразного зрелища и ускоряют шаги. А находятся натуры впечатлительные до такой степени, что могут сгоряча и пристрелить. А чего? Развизжались тут, понимаешь...

[Особый путь] О самобытности

Давно замечено, что, когда наши руководящие господа-товарищи затевают те или иные запретительно-репрессивные пакости, их резко пробивает на всемирную отзывчивость и они чуть что норовят кивнуть на мировой опыт. Вот в Европе, говорят они, за такие дела вам такой бы штрафчик выписали, что о-го-го. А в вашей, говорят, любимой Америке таких, как вы, так по судам бы затаскали, что не дай вам бог. А если кто-нибудь из наиболее бестактных начнет вякать что-нибудь в том духе, что мировой опыт вовсе не ограничивается запретительными или карательными функциями и что есть еще на свете всякие такие штуки, как, например, права личности или еще какие-нибудь подобные глупости, то тут же выясняется, что у нас особый путь и нечего нас учить – на себя бы лучше посмотрели, товарищи волки.

У нас особый путь, и спорить с этим бессмысленно. Мы самобытны и

оригинальны до изумления. А остальные – нет. Посмотрите сами: ну все же на одно лицо – что финны, что японцы, что итальянцы, что поляки, что грузины. Не отличишь. Поэтому нам все завидуют. Ну, и недолюбливают, ясное дело. И мечтают погубить – кто явно, кто тайно. Когда было такое, чтобы глобализованная посредственность и унифицированная серость не ополчалась бы на все яркое, самобытное и особенное? Никогда такого не было.

Вот и приходится веками держать круговую оборону против агрессивного напора мировой истории и огрызаться время от времени на манер самобытной советской официантки: «Вас много, я одна». «Одна ты на свете! Одна ты такая», – в унисон упомянутой официантке сообщает своей родине самобытнейший поэт Сергей Михалков в одном из своих вдохновенных гимнов, последнем на данный исторический отрезок.

Все у нас особенное. И даже патриотизм, принимающий подчас форму иррациональной любви к географической карте, тоже какой-то особенный. Вот прямо на днях я обнаружил на мусорном контейнере огромную, выполненную масляной краской надпись. Надпись была такая: «Курилы наши». Главное тут, разумеется, не само проявление бурного патриотического восторга, а с безукоризненной точностью выбранное пространство его репрезентации.

И вера особенная. Об этом лучше всего – у Лескова:

Вы, – говорят англичане, – нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

– Евангелие, – отвечает левша, – действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

И вот еще о самобытности. Пару лет тому назад перед входом в аптеку я увидел сидевшего на маленькой скамейке мужичка. В ногах у мужичка валялась потрепанная бесформенная кошелка, из которой торчали какие-то трубки и железяки. На шее его висел кусок картона. На куске была бесконечно интригующая надпись: «Изличаю все болезни и гимарой срочно». Публика, впрочем, обидно игнорируя безусловную самобытность и вселенскую универсальность этого культурного героя, шла все же в заурядную и вовсе не самобытную аптеку.

[Память] Сбоку бантик

«Выхожу я из метро, – рассказывает мой приятель, – и вижу: стоят какие-то в форменных маечках, ну, какие-то очередные „наши-из-параши“ и раздают эти самые ленточки – ну, ты знаешь, которые у некоторых на машинах висят. Кто-то не глядя берет и кладет в карман. Кто-то куда-то прицепляет. И вот я слышу вдруг до боли знакомый диалог, даже не сразу вспоминаю, где я его слышал.

Потом до меня доходит, что это же почти буквально „Собачье сердце“. А диалог такой. Какому-то дядьке средних лет суют они эту ленточку. А он говорит: „Нет, спасибо, не надо“. – „А почему это вы не возьмете?“ – спрашивают у него с некоторым таким нажимом. „Не хочу“, – говорит. „Вы что, не чтите память о погибших в войне?“ – „Очень чту“. – „А почему же не хотите взять?“ – „Да просто не хочу“. И пошел себе.

Потом сразу же выходит из метро пожилой дядька. Они и к нему – с ленточкой. А он спокойно так, дружелюбно и вместе с тем назидательно, говорит: „Молодые люди, орден с такой ленточкой у меня уже есть. С сорок четвертого года. А чужого мне не надо“. Прекрасный старик».

Прекрасный старик и прекрасная история. Правильная.

Принято считать, что праздник Девятое мая – едва ли единственный из дошедших с советских лет праздников, чья историческая, эмоциональная и нравственная легитимность не оспаривается никем. Принято считать, что Война и Победа – это чуть ли не единственное, что сплачивает распоротое по всем болевым швам общество. Что это единственное, к чему люди разных возрастов, социальных групп и социально-культурных ориентаций относятся одинаково и однозначно.

Хорошо бы, чтобы это было так. Но это не так.

Для каждого поколения своя война, своя Победа. Чем меньше становилось живых фронтовиков, тем во все более и более казенно-паточные с оттенками неявной досады тона окрашивалось и общественное отношение к ним. А в моем детстве фронтовиков было очень много, и они были молодыми. Никакого специального отношения к ним не было. Они были как все, и они были разные: умные и глупые, добрые и злые, пьющие и непьющие, больные и здоровые. В моем детстве было очень много инвалидов – человек на костылях и с орденами на задрипанном пиджаке был рутинной составляющей городского ландшафта. Напиваясь, инвалид иногда громко скандалил, требуя долива пива после отстоя пены. «Я за вас, суки, кровь проливал! Я, суки тыловые, ногу за вас потерял под Харьковом!» – «Не ори, мужик, – говорили ему, – другие тоже воевали. Ишь развоялся».

Праздник Победы был, кстати, рабочим днем и не шел ни в какое сравнение с такими великими праздниками, как Седьмое ноября. Но это был великий праздник для поколения моих родителей. Мать говорила, что за всю ее жизнь не было более счастливого дня. Еще бы: все кончилось, и все выжили. Это ли не чудо!

В эти дни у нас собирались фронтовые друзья и подружки моего отца – бодрые, еще довольно молодые, хорошо и со вкусом пьющие люди. Меня, жаждавшего величественных, как в кино, подвигов, смущала странная особенность этих посиделок. Они вспоминали только смешное. Они до слез хохотали, вспоминая, как какого-то Котьку Орлова взрывной волной забросило в

навозную кучу. Меня это, признаться, разочаровывало и даже несколько обижало: что это за война такая – комедия, а не война.

За Войну, между тем, шла подспудная и мало заметная глазу война. Война между человеком и государством. Побеждало, как всегда, государство, сделавшее день Победы своим праздником, где ветеранам отводилась почетная роль статистов.

В наши дни, когда осыпались все идеолого-пропагандистские знаки и эмблемы, кроме разве что Вертикали и ВВП, лишь она одна, Победа, осталась болевой точкой, на которую слетаются все кому не лень. Но не каждый может объяснить, что это за победа. А если может, то получится, что его «победа» не имеет никакого отношения к «победе» другого. Что за победа? Победа кого над кем? Чего над чем? Наш народ победил национал-социалистическую идеологию? Тогда почему в нашей стране все большее и большее право голоса имеют борцы за права «коренного населения»? Советская плановая экономика победила хаотическую капиталистическую? Если так, то где она теперь, эта плановая экономика? Русские победили немцев? Сталин победил Гитлера? Или, как поется в одной старой великой песне, «я шел к тебе четыре года, я три державы покорил»? Это, согласитесь, очень разные победы. Нет, это не победа «одна на всех».

Я помню довольно странную по нынешним понятиям газетную дискуссию времен перестройки. Дискуссия разворачивалась по поводу того, что какой-то из московских театров решил поставить не помню какую трагедию Софокла, для чего решил пригласить одного крупного немецкого режиссера. Кто-то был за приглашение варяга, кто-то против. Меня поразила аргументация какого-то генерала. «Мы не для того с колоссальными жертвами выиграли эту кровопролитную войну, чтобы теперь немец в нашем театре ставил свои постановки», – гневно писал генерал.

А вот по-моему, как раз именно для этого и выиграли.

А теперь вот – ленточки. Я не могу связно объяснить, что именно меня в них так раздражает, в этих невинных на вид бантиках, развевающихся на автомобильных антеннах. Видимо, попытка бюрократизации человеческой памяти. Попытка присвоения памяти. Попытка управления памятью.

К этим ленточкам прицепиться трудно, легче их прицепить. Что в них такого невыразимо пошлого и фальшивого? Ну не могу объяснить. Могу только перефразировать старый анекдот про елочные украшения: ленточки эти насквозь фальшивые, потому что не волнуют. Потому что не знаю, кому как, а мне не надо свою память и свою гражданскую позицию получать из рук мудрого руководства. У меня с памятью все в порядке, и мне не надо завязывать узелков, чтобы не впадать в забывчивость. Я и так не забываю. Я помнил, помню и буду помнить и об отце, и о его друзьях, и о пьяном инвалиде у пивного ларька, и о противогазной сумке, с которой мой старший брат ходил в школу, и о трофейном

мотоцикле соседа дяди Коли, и о рассказах мамы об этом самом счастливом дне в ее, а стало быть, и моей жизни. С праздником.

[Патриотизм] Дома и в гостях

В детстве я ужасно любил, когда к нам приходили гости. Было весело, приподнято, вкусно. Родители принаряжались, на большой круглый стол вместо привычной клеенки стелилась белая скатерть, гости и хозяева особенно громко и оживленно разговаривали, а потом пели песни. Но это было, увы, не каждый день. А каждый день была рутинная монотонная вовсе не праздничная жизнь с маминым халатом, папиной пижамой, манной кашей по утрам и котлетами на обед. Тоска, в общем.

Но еще больше я сам любил ходить в гости. В гостях всегда было все красивее, просторнее, веселее и вкуснее. Больше всего мне нравилось у соседки Елены Илларионовны – там были такие прекрасные трофейные тарелки с ярко-синими полосочками по краям и какими-то красочными то ли гномами, то ли феями, то ли пастушками на дне. Из таких тарелок можно было съесть все, что угодно. Мама, как я узнал многими годами позже, использовала эту мою страсть в своих корыстных интересах. Она втихую приносила Елене Илларионовне свои супы и котлеты, которые я решительно отказывался есть, Елена Илларионовна церемонно приглашала меня на обед, я с восторгом принимал это приглашение и с невероятным энтузиазмом поглощал обрыдлую мамину еду из волшебных тарелок. Потом возвращался домой и укоризненно говорил маме, что она не умеет готовить таких котлет.

Однажды, видимо из воспитательных целей, мама позвала меня на кухню, где находилась также и Елена Илларионовна. Обе были очень торжественны и официальные.

Мама сказала: «Если тебе так нравится бывать у Елены Илларионовны, то мы решили, что ты будешь жить у нее. Все время. Всегда. А я буду тебя иногда навещать». Соседка с важным видом подтвердила их общее решение и прибавила, что она уже приготовила для меня кровать. Эта кровать почему-то особенно подействовала на меня, и я поднял такой рев, который до сих пор звучит в моих ушах. «Нет! Нет! Нет! – орал я. – Я хочу жить дома! Никуда я не пойду! Не надо!» Мама пожалела меня и сказала, что они пошутили, но я, оглушенный катастрофической перспективой, горестно всхлипывал еще часа полтора.

А любовь ходить по гостям все же осталась. Причем до сих пор.

Это я к чему? А это все к вопросу о патриотизме и антипатриотизме.

У всех людей разные организмы, разная биохимия. Например, алкоголь для кого-то пагубен и разрушителен даже в малых дозах. Для кого-то – не очень. Свой многолетний опыт жизни при советской власти я считаю чрезвычайно

важным и полезным. Я, надеюсь, получил надежную прививку от тоталитаризма, каковой был представлен в те годы, как пишут в ценниках вокзальных буфетов, в ассортименте. Как человек языка, я не могу и никогда не смогу всерьез не то чтобы произнести, но даже и слышать такие слова, как «патриотизм» или «великая родина». Эти слова заражены на многие десятилетия, как окрестности Чернобыля. У кого-то я прочитал, что, когда власть собирается убивать, страну она начинает называть «отечеством». Золотые, по-моему, слова.

А кто-то в те же годы отравился навсегда. А что говорить о тех, кто помоложе? Многие из них и вовсе лишены всяческого иммунитета.

Я не привык отвечать на вопросы из разряда «Како веруеши?». Я убежден, что это дело интимное. Как и любовь. В том числе и любовь к своей стране, к своему дому. Я убежден, что публичные рассуждения на эти темы нарушают общественные приличия. Но если бы я вдруг ощутил необходимость высказаться на эту тему, то я бы сказал, что на порядок чаще, чем о какой-либо другой стране, я думаю о России. Это любовь или нет? Решайте сами. Во всяком случае, я здесь живу. А мог бы жить и не здесь. Это ответ? Если нет, то говорить больше не о чем.

Нравится ли мне Европа или Америка больше, чем Россия? Пожалуй, да. И это именно потому, что там я в гостях. Человек с нормальной реакцией замечает и запоминает в гостях все самое хорошее. А человек с ненормальной реакцией подобен лирическому герою известного стишка «Подайте шляпу и пальто. Е...л я ваши именины. Хозяйка – блядь, пирог – говно. Котлеты явно из конины».

Получилось так, что однажды – в середине 90-х – я целый год прожил в Германии. И мне там было очень хорошо. А особенно хорошо мне было от осознания того, что время пройдет и я вернусь в Москву – холодную, слякотную, пыльную, родную.

А здесь я дома. Тут другое. Тут я сразу же замечаю перегоревшую лампочку, пыль на подоконнике, паутину в углу, сломанный шпингалет и отклеивающиеся обои. Восхвалять, причем публично, свой собственный дом – глупо до невозможности. А воспринимать покосившийся сарай и поваленный забор как признаки самобытности и объекты национальной гордости еще глупее.

А профессиональные патриоты – это не хозяева своего дома. Это жильцы, постояльцы, подсознательно боящиеся, что их в любой момент могут погнать из дома поганой метлой. Им необходимо каждую секунду доказывать свою любовь к родимой и великой жилплощади, а также свою преданность ответственному квартиросъемщику, домоуправу и участковому милиционеру.

Один из таких вот как-то упрекнул меня в том, что я «обсираю родину». Нет, дорогой мой, отвечу я ему, это вы обсираете мою страну, а я лишь наделен достаточным зрением и обонянием, чтобы это замечать. Буду замечать и впредь, ибо к засранности привыкать не намерен. Вам кажется, что вы здесь у себя дома, а потому «право имеете». А я вот убежден, что я здесь у себя дома, и никто

никогда этой моей убежденности не поколеблет. Уж извините.

[Постмодернизм] Уже ничего

Сны разума порождают известно что.

Искусство и литература порождают стили, сюжеты и метафоры, обнаруживающие способность с разной степенью причудливости реализовываться в реальной жизни – частной, общественной, политической – какой угодно. В русской традиции, где искусство и в особенности литература всегда воспринимались образованными людьми как нечто заведомо более достоверное и реальное, чем сама реальность, эта тенденция всегда проявлялась особенно сильно и наглядно.

Давно замечено, что персонажам художественной литературы присуще оживать и действовать в свойственных им стилистических характеристиках по своему собственному усмотрению.

Так герои Достоевского стали яркими деятелями русского декаданса и русской революции.

Стилистика революционной риторики была, в сущности, стилистикой Серебряного века, только оседлали ее не великие поэты и художники, а провинциальные гимназисты-второгодники. Песни Гражданской войны были насквозь прошиты ржавыми нитками декаданса, где мотив «смерти» стал главным мотивом. «И как один умрем в борьбе за это» – звучит оптимистически, не правда ли?

Попутно заметим, что эта декадентская мутотня, завалившись в складках истории, спустя многие десятилетия выползла в хорошо известном лозунге «Да, смерть».

Лексика и фразеология провинциального символизма, произвольно перемешанная с советским просторечным «дичком», довольно долго составляла основу стиля раннесоветской эпохи. В этом смысле я очень люблю пионерскую песенку 20-х годов про картошку. Как наглядна там взрывчатая мешанина из разных тухлых «бездн» и бодрого слободского гедонизма. Помните эту песню: «Эх, картошка, объеденье, пионеров идеал. Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал». Тут тебе и «идеал», и «объеденье». Тут и «наслажденье», и «не едал». Это и был тот особый – эклектический, бастардный стиль эпохи, который так мощно зазвучал в прозе великого Зощенко.

В середине 70-х годов прошедшего века в неофициальном русском искусстве возникло движение соц-арта, пафос которого основывался на художественной рефлексии по поводу советских идеологических знаков, символов и фразеологических схем, в те годы уже воспринятых как мертвые. А искусство соц-арта было как раз очень живым и веселым, хотя по понятным причинам не очень безопасным для судеб его создателей.

В годы зрелой перестройки соц-арт «пошел в народ», стал одной из стилистических примет повседневного быта. Это было тогда, когда возникла мода на значки ГТО, переходящие красные знамена и почетные грамоты с профилями вождей. Так новое поколение «расставалось, смеясь, со своим прошлым».

Тогда я с грустью подумал, что, став бытом, соц-арт как актуальное искусство умер или, скорее, музеефицировался, что более или менее одно и то же. Время показало, что я ошибся, но об этом позже.

Соц-арт стал бытом, ширпотребом, попсой, а в искусстве 90-х зацвел пышным цветом постмодернизм, основанный на более или менее конструктивном нарушении культурных, стилистических и прочих иерархий. Серьезное – смешно. Смешное – серьезно и драматично. Постмодернизм – игра в цинизм, игра в неразличение добра и зла, верха и низа, игра в нарушение границ и дистанций. Постмодернизм как бы заключал в кавычки весь круг рассматриваемых жизненных явлений.

Таков был постмодерн, но другой была общественная атмосфера – вполне патетичная, проективная, изобличительно-разоблачительная.

Постмодернизм ругали. Прежде всего за «моральный релятивизм» и демонстративный отказ от воспитательных функций. Даже, я помню, какой-то из тогдашних министров внутренних дел как-то публично высказался в том духе, что в росте преступности виновато то-то, то-то, то-то и – почему-то – постмодернизм. Откуда взялся там «постмодернизм»? Кто из его начетчиков-экспертов подсунил ему этот «постмодернизм»? Что он сам представлял себе, произнося это замысловатое неведомое слово?

Так или иначе, но и постмодернизм вошел в быт. А самое главное и интересное – это то, что он прочно вошел в политическую практику, что его стилистические особенности всюду эксплуатируются бодрой шоблой всяческих политтехнологов нового призыва.

Ну а чем еще, кроме постмодернизма, можно объяснить все происходящее, где все артикулируемые понятия и категории, если они не взяты в кавычки, производят впечатление тяжкого коллективного бреда. Как без «постмодернизма» можно объяснить весь этот грандиозный кошачий концерт перед выборами? Как объяснить сами выборы с их девянью восьмью, а то и ста четырьмя процентами? Как можно объяснить все эти собачьи свадьбы и все эти тараканьи бега с их «планами», «преемниками» и «мишками»? Как можно объяснить, что вся общественная и политическая жизнь мучительно напоминает то ли пионерскую игру «зарница», то ли учения по гражданской обороне?

Как можно объяснить то, что врать стали уже настолько вдохновенно, окаянно и отъявленно, что невольно задаешься вопросом: не шутят ли они? Они это все кому, вообще, впаривают?

Никому. Понимай как хочешь и реагируй как хочешь. Адресат в этом

«послании» мало кому интересен. Постмодернизм у них такой.

Такой вот у них постмодернизм, когда не отличишь, где министры Ивановы, а где «Иванушки-интернешнл», где омон с дубинами, а где «Руки вверх». Публика, а также массовки и подтанцовки у тех и у других более или менее одни и те же. И дым пускают одинаково. И даже пресловутая «вертикаль» – понятие для постмодернизма неприемлемое – и та какая-то у них невертикальная.

Вот и ему, постмодерну, пришел конец. А актуальным вновь становится, как ни странно, все тот же соц-арт. Не зря же на него со столь симптоматичной яростью набросились культурные чиновники. Не зря же с таким оглушительным успехом прошли его выставки – сначала в Москве, потом в Париже.

А постмодернизм...

Не так давно я был приглашен в одну из московских школ. В математическую. После выступления один очкастый умник задал мне чисто «математический» вопрос. Он спросил: «Вы могли бы буквально в двух словах объяснить, что такое постмодернизм?» Ничего себе вопрос, правда? В двух словах...

Но я ответил. Причем именно в двух словах. Я сказал: «Уже ничего».

[Праздники] Интересное кино

Произошло в общем-то вполне знаменательное событие. Седьмое ноября, красный день календаря, стал будним днем. Один из фантомных символов советской власти почил тихо и незаметно, перед смертью успев сменить имя и с этим новым, маловыразительным именем проскрипев еще несколько лет. Второй символ пока еще лежит под стеклянным колпаком в историческом центре столицы. Может, и его, прежде чем тихо зарыть в землю, как-нибудь переименуют, чтобы из мавзолея вынимать не вождя мирового пролетариата и не основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, а так, какого-нибудь неприметного дядьку.

Теперь красный день календаря перенесли на три дня назад, придумали для него какой-то невразумительный и мало кому понятный историко-информационный повод и назвали Днем народного единства. Ура.

Праздник удался на славу. Благостное телевидение показало нам духоподъемные торжества в Нижнем Новгороде. На торжествах по случаю присутствовали патриарх всея Руси Алексий, гражданин Минин, князь Пожарский и другие официальные лица. Вот видите, говорят, у нас с вами получился всенародный праздник. А что? Вот и раввин поддержал, и мулла, и лама, и шаман. Еще бы они не поддержали. А католики? Ну, католики... А что, собственно, католики? Католики – они и есть католики. Да и при чем тут католики, когда у нас тут народное единство – вы бы еще вудуистов вспомнили.

А в Москве в это время состоялся смотр патриотических сил, понявших слово «единство» так, как они привыкли его понимать. Легко представить себе, что началось бы в любой столице нормального государства, где проистекло бы что-нибудь подобное. На следующий день на улицы вышли бы огромные толпы людей, нормальных современных, цивилизованных людей, и показали бы, кто все-таки в стране хозяин. А у нас что? А у нас тут единство. Народное, между прочим.

Многие задаются сакраментальным вопросом: поощряется ли это властями? Мне кажется, безусловно. Разделяет ли власть думы и чаяния угрюмой толпы? Думаю, вряд ли. Нынешняя власть если и отягчена какими-либо из социальных идей, то вся совокупность этих идей легко описывается коротким словом «вертикаль». Но не называть же пустующую праздничную нишу «Днем вертикали», сами подумайте.

Нет, власти не разделяют этих дремучих страстей. Это они нас так пугают. «Вот видите, – намекают они не столько нам, сколько Западу, – не будет наших вертикалей и стабильностей, будет во как. Видели? То-то же. Народ у нас горячий. Чуть что – сразу вон чего. А ничего третьего нету и быть не может». Вроде как «будешь баловаться, придет дядя с мешком и заберет».

Но дело-то в том, что «дядя с мешком» вовсе не собирается мириться с ролью декоративного объекта чужих манипуляций. Он имеет все основания считать себя субъектом. Так что, глядишь, и придет. И заберет.

Недавно в каком-то журнале я прочитал результаты опроса разных ньюсмейкеров на предмет нынешнего состояния русского языка. Кто-то из них, помню, сказал, что не выносит слова «слоган»: «Есть ведь такое нормальное русское слово, как „лозунг“». Не будем чистоплюями и не станем указывать на тот очевидный факт, что слово «лозунг» не совсем русское, а скорее немецкое. Это ладно – не в этом дело. А дело, как нам кажется, в том, что эти слова вряд ли взаимозаменяемы, ибо означают совсем разные вещи. Допустим, «наслаждение вкусом» – это, разумеется, слоган. А вот «Россия для русских» – конечно же лозунг. Впрочем, нет. Лозунг – это «народ и партия едины». А «россия для русских» – это уже, видимо, «клич». А это уж точно местное слово. Не забудем, кстати, что и еще одно исконное наше слово прочно вошло в академические словари многих языков. Это слово (для пущей респектабельности обозначим его латиницей) – слово «rogom».

И вот что еще интересно. Идиотский тыквенный Хеллоуин – у них, видите ли, чертовщина. А «Россия для русских» не чертовщина. Как, как вы сказали? «Ни эллина, ни иудея»? Правильно. Чтоб к завтраму не было тут ни эллина, ни иудея, ни прочих хачей, азерботов, нигеров и косоглазых. И это все никакая, разумеется, не чертовщина, а народное единство и есть.

Кто эти люди – от как бы респектабельного борца с нелегальной иммиграцией до юного придурка с башкой голой как снаружи, так и изнутри?

Как назвать их одним словом?

Можно было бы – причем с полным основанием – назвать этих ребят фашистами. Да только вот беда: все термины и категории на нашем искривленном пространстве имеют несчастную склонность менять собственные значения до полной неузнаваемости. В нынешней языковой реальности такие слова, как «фашист» или же, например, «либеральный демократ», полностью утратили какие бы то ни было устойчивые значения.

Вот, например, партийно-правительственные «Наши» гордо именуют себя антифашистами. «А кто же тогда фашисты?» – спросит растерявшийся обыватель. Как кто? Тот, кому не нравятся «наши», – непонятно, что ли? Кстати, в том же самом опросе по поводу русского языка фигурировал и вождь «наших» господин-товарищ Якименко. Так он и вовсе заявил, что нет для него более ненавистных слов, чем «постмодернизм» и «интертекстуальный». Это курьезно, но это и симптоматично. Получается, что наш пламенный антифашист на дух не выносит всего того, что маркирует в его небогатом сознании космополитический интеллектуальный язык современности. Ну не антифашизм ли? Дадим бой фашистской интертекстуальности. Постмодернизм не пройдет!

Так что для обозначения того, что мы имели несчастье наблюдать в центре нашего любимого города, слово «фашизм» не подходит. «Фашизм» не пройдет. Не пройдет, потому что он ничего не значит, кроме того, что этим словом принято награждать без разбору всех тех, кто тебе по той или иной причине не нравится. И до тех пор, пока это сильное, но тотально обесмысленное слово не станет для большинства граждан означать именно то, что оно означает, обо всяком «единстве» придется забыть.

Когда-то, в советские годы, тоже были разные праздники, а не только Седьмое ноября. Для того чтобы было понятно, о чем речь, в эти дни в течение многих лет показывали ритуально-познавательные кинофильмы. На Седьмое ноября – «Ленин в Октябре». На День Конституции – «Член правительства» с Марецкой. В День Парижской коммуны шел «Гаврош», который, кстати, ни к какой Парижской коммуне отношения не имел, но кого это волновало. А теперь? Что за праздник? О чем речь? Что такого случилось после того, как примирение и согласие накрылись народным единством? Чем они вообще отличаются друг от друга? Какие такие Минины-Пожарские? Кино давай! Вот нам и показали кино – не очень новое, но, прямо скажем, интересное. И так каждый год теперь?

[Пропаганда] Мегухуй за Пепсуева

Заголовок – не опечатка, как может показаться с первого взгляда. Просто на Садовом кольце висят рядом две рекламы – одна на щите, другая на растяжке во всю ширину улицы. Первая совсем непонятная. Там написано: «Запепсуй мегахит». Для того чтобы понять, что это загадочное словосочетание не является

именем-фамилией какого-нибудь вождя одного из пуштунских племен, нужны некоторые интеллектуальные усилия. Потратив же некоторые интеллектуальные усилия, ты начинаешь понимать, что слово «запепсуй» является русским глаголом совершенного вида в повелительном наклонении. Глагол переходный, ибо при нем имеется объект. Объект, в свою очередь, выражен нарицательным неодушевленным существительным мужского рода второго склонения в винительном падеже. Начисто лишенное на первый взгляд плана содержания это причудливое словосочетание отсылает нас либо к «глокой куздре», либо к трудам поэтов-заумников 10-х годов ушедшего века. На второй же взгляд ты понимаешь, что перед тобой – очередное творение троечников-рекламоделов, на вымученной псевдомолодежной фене втюхивающих тебе какую-нибудь очередную туфту. Какую именно, тебе совершенно неинтересно. Оно и правильно: зачем человеку со здоровыми эстетическими рефлексамися разбираться в этом – туфта она и сесть туфта.

Вторая реклама – та, что на растяжке, – тоже впаривает очевидную туфту, несмотря на то что там все слова по отдельности вполне понятны. Если первый слоган представляет собой императивно-побудительную словесную конструкцию, то второй является повествовательным предложением. Если первый побуждает нас к чему-то непонятному, но насущно важному для каждого из нас, то второй констатирует. Констатирует некий непреложный якобы факт, свидетельствующий о том, что «Москва голосует за Путина». Вот те раз! А я и не знал. Я-то думал, что предстоящие выборы являются не президентскими, а парламентскими. Я-то думал, что я тоже Москва и при этом ни за какого Путина не только не голосую, но даже и не собираюсь. Да и не один я такой, мягко говоря. Для кого эта реклама? Да понятно, для кого. Для тех, для кого вообще реклама.

Выдающиеся филологи Юрий Лотман и Борис Успенский в своей работе «Миф – имя – культура» предложили различать культуры, одна из которых ориентирована на сознание мифологическое, где ключевыми словами являются имена собственные, другая же, более современная, опирается на абстрактные понятия.

Понятно, что для достаточно архаизированного местного сознания имя – это работающий знак, а то или иное понятие – будь то хоть простая, хоть «суверенная» «демократия», будь это хоть «вертикаль», хоть «горизонталь» – суть лишь бледные тени какого-нибудь культурного героя. «Полная и окончательная победа социализма в одной отдельно взятой стране» – не очень понятно. «Сталин» – еще как понятно и еще как дано человеку и обществу в его непосредственных ощущениях.

Вот и наши кремлевские рекламщики не столько умом, сколько селезенкой поняли, на что здесь надо напирать.

А то, что в этих плакатах и слоганах что ни слово, что ни знак препинания –

сплошные нарушения существующих законов, сплошные наглость и примитивный барачный нахрап, не говоря уже о полном отсутствии остатков здравого смысла, каковым все же наделен тот или иной индивид, то кому какое дело. Кому какое дело до того, что грядущие выборы вроде бы вовсе не президентские, а парламентские, и при чем тут, казалось бы, Путин. Да хоть бы и президентские. Из одного, что ли, прикажете выбирать. Ну, прикажете, понятно. Попробуйте приказать. И кто-то этот приказ по привычке пойдет и выполнит не моргнув глазом. И даже, я уверен, многие. Но не все же все-таки. Не на всех же так действует магия имени. На кого-то эта магия не действует вовсе. На кого-то это имя действует, но вовсе не так, как этого хотелось бы кремлевским массовикам-затейникам.

Так что голосуй, Москва. Голосуй, мой родной город. Но сначала все же запепсуй мегахит. Потом подумай немножко. Потом замосквуй мегапутина. И снова подумай. Потом не забудь запутить Мегамоскву. Впрочем, она уж и без того запутена до краев. И опять подумай.

А если ничего путного (пardon за невольный каламбур) не надумаешь, то валяй – мегухуй за Пепсуева, Москва, и будет тебе Щассте.

[Родина] Песня о Родине

Чего-то вдруг вспомнил.

Это было в начале 80-х годов прошедшего столетия. Я шел по дачному поселку от станции, нагруженный огромным рюкзаком с продуктами. Была пятница, вечер. По бокам улицы тянулись две поросшие лопухом и крапивой сточные канавы. Время от времени растительность начинала шевелиться и из-под нее ненадолго выныривала голова того или иного обитателя здешних мест, обретшего там заслуженный покой после напряженнейшей трудовой недели.

В какой-то момент из-под придорожных лопухов на манер лох-несского чудища во весь рост поднялась колеблемая слабым ветерком фигура. Повертев головой окрест себя, фигура остановила свой взор на моей скромной персоне и сказала почти что сердечно: «Здорово, мудила!» Ответа на свое самобытное приветствие мужик дожидаться не стал, а вместо этого счел необходимым осведомиться: «Где, блядь, твоя родина?» Ну, типа: «Where are you from?», только чуть более жестко.

Ответа на свой вопрос он опять же не дождался, ибо тут же снова погрузился в пучину бурной, хотя и не слишком разнообразной подмосковной флоры.

Да и что я мог ему ответить? На приветствие его ничего, кроме как «сам мудила», я в предложенных обстоятельствах придумать бы просто не успел. А это, согласитесь, не было бы непревзойденным образцом искрометного остроумия. А на столь неожиданный в данном пространственно-временном

контексте вопрос тоже ответить было бы особенно нечего, разве что подобрать самую нехитрую рифму к слову «где» или, в лучшем случае, – «да уж не в канаве с пыльными лопухами».

Хотя – кто знает?

Об истории вопроса говорить уже совсем неинтересно: она – для меня по крайней мере – давно ясна. А вот география вопроса все еще любопытна, потому что вопрос «где она, эта самая родина» не вполне решен.

Я вообще-то это слово употребляю крайне редко. Имея печальный опыт насильственного советского патриотизма, я привык понимать слово «родина» скорее в контексте одноименной песни композитора Серафима Туликова на слова не помню чьи, да и какая разница.

Есть вполне вроде бы нейтральное слово «страна». Но и по этому поводу горят болезненные страсти. Ибо наши хронические патриоты, постоянно возбужденные и постоянно одержимые характерной мнительностью, придумали такой особый тест на лояльность. При начале всякого разговора на общественные, политические или культурные темы они любят спрашивать пароль: «Ну-ка быстро отвечай: „*Наша* страна“ или „*Эта* страна“?» Горе тому, кто ошибется. То есть это они так думают. Я же думаю так, что страна безусловно «наша», по крайней мере «моя», потому что она действительно моя, что подтверждено и биографически, и документально. И она, разумеется, «эта», уже хотя бы потому, что она именно эта, а не какая-нибудь другая. Никто не лишит меня права употреблять оба обозначения не в угоду той или иной абсурдной конъюнктуре, а в соответствии с той или иной стилистической задачей.

Родина, как известно, бывает большая и малая. И они находятся друг с другом в странных, не вполне проясненных отношениях. Помните, какой нервический смех аудитории вызывала двусмысленная фраза из позднесоветского кинофильма «Гараж» про продажу родины? Реакция там возникала из-за мгновенного переключения регистра с высокого на низкое. Под высоким, разумеется, подразумевалось понятие Родины как величавого, строгого, но справедливого государства, а от словосочетания «продать родину», применяемого обычно к диссидентам или просто съехавшим куда-нибудь на пээмжэ, веяло отчетливым ледяным ветерком.

Каламбур строился на том, что речь-то, оказывается, шла всего лишь о малой родине, в факте продажи которой, причем продажи в буквальном, товарно-денежном смысле, нет ничего особо предосудительного. Что такое «малая родина»? А это всего лишь то, с чего, в соответствии с известной песней, начинается «большая». В общем, так, ерунда – картинка в твоём букваре, тощенький ручеек, с которого начинается великая река.

Большую родину было предписано любить в ущерб родине малой, потому что, как пелось в другой песне, «мой адрес не дом и не улица», а сразу весь

Советский Союз. Но какое, хотя бы даже и самое щедрое сердце способно вместить в себя такую огромную страну с ее лесами, морями, полями, заводами, фабриками, силосными башнями, всесоюзными здравницами, мясокомбинатами, горкомами партии, речными излучинами и комсомольскими стройками, гидроэлектростанциями и районными вытрезвителями, погранзаставами и индустриальными гигантами, кладбищами и театрами, городами-героями и пивными ларьками, горными вершинами и исправительными колониями, заливными лугами и приемными пунктами стеклотары, дворцами культуры и оленьими стадами!

Самое механистическое понимание родины – это понимание ее в рамках государственных границ. То есть родина – это то пространство, где все милиционеры одеты одинаково. Для многих так и есть. Но различие между родиной и государством примерно такое же, как между буквой и звуком. Буква формальна и одинакова для всех. Звук – живой. И каждый произносит его не совсем так же, как другой, да и сам произносит его не всякий раз одинаково.

Можно сказать, что родина – это то место, где ты ощущаешь себя своим. Или так: это место, куда тебе непременно хочется вернуться, где бы ты ни был. И эти места для всех разные. Для кого-то отечество – это огромная страна, для кого-то – родительский дом, для кого-то – так называемая историческая родина, то есть те места, где жили их далекие или близкие предки, для кого-то – целый мир. А вот для одного невыездного российского подданного целый мир был чужбиной, а отечеством ему было лишь Царское Село. Кто прав? Все правы.

Существует распространенное мнение, что родина там, где тебе хорошо. И это так. Но и не так. Родина там, где нам и лучше всего, и хуже всего. Там, где нас любят и передают заветные записочки, но и там, где нам ставят двойки, а нас – в угол. Все это родина. Родина – это то, от чего невозможно отделаться, даже если очень хочется. Откуда невозможно удрать, куда бы ты ни удрал.

Она, конечно же, и там, на той дороге, вдоль которой тянутся заросшие сорняками канавы, откуда время от времени вылезает пьяное чудовище, чтобы ласково назвать тебя «мудилой» и огорошить тебя внезапным сакраментальным вопросом, ответ на который ты ищешь и не можешь найти.

[Русское] Семантика текущего момента

Уже приходилось писать о том, как различные и в особенности господствующие идеологии с помощью своей риторической практики смертельно заражают словарь русского языка, превращая позитивные значения некоторых слов в устойчиво негативные. Чаще всего это делалось при посредстве оксюморонов наподобие «красной профессуры», «социалистического гуманизма», «партийной совести» или «советского правосудия».

То ли забыв, то ли, наоборот, вспомнив о том, как в 70-е годы

изошреннейшие умы отечества, сконцентрированные в различных президиумах различных академий, вели высокоученые дискуссии о том, как будет побойчее – «развитой» социализм или все же «зрелый», наши новые агит-технологии уже несколько месяцев не вылезают из жарких дебатов по поводу какой-то ихней «суверенной демократии». И ведь всерьез, заметьте.

Это, так сказать, одна сторона дела. Другая заключается в том, что усилиями некоторых дискурсивных практик последнего времени многие ключевые слова даже не то чтобы меняют свои значения, но какие бы то ни было значения вообще утрачивают. Таково, например, слово «фашизм». Употреблять это слово абсолютно бессмысленно, потому что абсолютно непонятно, что именно оно означает в нынешнем дискуссионном контексте. Фашистом можно, разумеется, назвать и фашиста, то есть носителя нацистской идеологии. Но это как-то совсем не работает, так как является лишь частным случаем, ничуть не отменяющим того безмерно расширительного значения, какое приобрело это когда-то сильное слово в наши дни. Неокомсомольское движение «Наши», например, борется с фашизмом в лице либеральных и правозащитных сообществ. Фашизм в данном случае выражается в том, что некоторые из носителей подобных общественно-политических взглядов не выказывают предписанных обществу восторгов по поводу строительства властной вертикали и доходят до таких степеней звериного человеконенавистничества, что позволяют себе высказывать некоторые сомнения в безусловной необходимости третьего срока ныне действующего гаранта. Впрочем, с «фашизмом» такое бывало и прежде. Известно, что в сталинских лагерях именно «фашистами» урки называли тех, кто был осужден по 58-й статье.

Примерно то же происходит и со словом «русофобия». Если под русофобией понимать неприязнь к тем или иным лицам лишь на том основании, что эти лица являются этнически русскими, то это понятно, что такое, – это как раз фашизм и есть, если, опять же, понимать под фашизмом то, что под фашизмом понимается во всем цивилизованном мире. Но беда-то в том, что именно в этом значении слово «русофобия» как риторический или полемический инструмент употребляется крайне редко. Как правило, под «русофобией» понимаются любые формы несогласия с теми или иными высказываниями или действиями тех или иных граждан или организаций, каковые позиционируют себя как «русские». Надеюсь, понятно, что я имею в виду не «Русское бистро», не Русский музей и не Русский народный хор им. М.Е. Пятницкого.

«Русский». Вот и еще одно слово, рискующее потерять какое бы то ни было значение. По крайней мере то, которое является очевидным для большинства носителей одноименного языка. Я понимаю, что до этого все же далеко уже хотя бы потому, что существуют и уже, слава богу, никуда не денутся и русский язык, и русская литература, и русская музыка, и русская наука, и вообще русская история. Но усилиями не столь многочисленной, сколь истошно горланящей

шоблы упомянутых граждан и организаций, активно употребляющих слово «русский» и нагружающих его лишь одним значением – идеологическим, – все нормальные значения слова, такие как этническое, географическое или лингвистическое, уходят в тень. Эти самые «русские», все агрессивнее и все громче выступающие от имени «всех русских», ставят всех нормальных русских в щекотливое положение, ибо те скоро будут вынуждены употреблять слово «русский» с необходимыми пояснениями того рода, что я, мол, имею в виду не то, что *эти*, а говорю я это в нормальном, в человеческом смысле.

Пушкин – русский поэт, Глинка – русский композитор, Петр Великий – русский царь, а какой-нибудь, скажем, Курьянович – русский русский. И больше ничего. Отсюда и «русские марши», где такому «русскому» только и можно предъявить городу и миру свою русскость. А где еще-то? Русские – это, видите ли, именно они, говорящие безо всякого спросу от имени «всех». А все остальные – которые вовсе не хотят, чтобы кто попало говорил от их имени и которых, в общем-то, несравненно больше – это, понятное дело, уже как бы и не русские. Вот и получается, что большинство-то – это вроде как нерусские, а вот эти самые «русские» – это как раз меньшинство. Но меньшинство, выступающее как бы в защиту как бы большинства. То есть нерусских. В общем, чушь какая-то.

И вся беда в том, что одним и тем же словом обозначаются совершенно разноприродные явления. Да и слова эти совершенно разные. Слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и, главное, обозначают совсем разные вещи, в грамматике называются омофонами. Вроде как «лук» и «луг». Поэтому вот что я предложил бы Институту русского языка для спасения хорошего слова. Пусть все русское в нормальном смысле этого слова называется «русским». А вот к этому «русскому», которое «на марше», я бы добавил лишнюю «с». Пусть оно пишется с тремя «с», тем более что те ребята, что собираются в субботу помаршировать по улицам моего родного города, примерно так это слово и произносят.

Язык пусть будет русским. И поэзия пусть будет русской. И народ пусть будет русский. А марш пусть будет «русским». И все тогда встанет на свои места. И лозунг «Россия для русских» будет выглядеть не только комично, но и вполне безобидно. Россия для русских, дом для домовых, двор для дворовых, столб для столбовых. А чего? Нормально, по-моему.

[Свобода] Если вся школа закукарекает

Некоторое время тому назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И так как-то там все время получалось, что свобода с нравственностью сочетаются плоховато.

Особо активничала там некая дама. Судя по речам, а также горящим глазам

и проповедническим интонациям, дама была высокодуховная и патриотичная до невозможности. Дама делилась со зрителем некими откровениями наподобие того, что свободы без твердых нравственных понятий быть не может. Вот ведь удивила! Что за такая свобода сама по себе, риторически восклицала дама. Просто свобода, свобода вообще – это чушь собачья, говорила она. Бывает, мол, свобода убивать, а бывает свобода быть убитым. Ну, и прочее в таком духе.

Это в общем-то правильно – свободу действительно каждый понимает по-своему. А вот нравственность, видимо, все понимают одинаково. То есть именно так, как ее понимает тетка из телевизора. Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же как, скажем, и о любви к родине.

Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и «дикие танцы». Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по отношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет?

Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку, раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. «У нас не читают», – сказала она строго. «Чего это вдруг?» – изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизойти до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. «Так это же кафе, – говорила она медленно и отдельно, как это делают при общении с глухими или иностранцами. – Люди сюда приходят от-дох-нуть. А тут кто-то вдруг читает! Вам вот было бы приятно?» Слово «читает» она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке. Чтение не вызывало у нее никаких ассоциаций, кроме занудной и репрессивной школы, так и не выученного письма Татьяны к Онегину и неисправленной двойки по географии. Я, безусловно, ее обидел, ибо человек, читающий в присутствии людей, похуже будет, чем человек, ковыряющийся вилкой в зубах. Просто уже хотя бы потому, что мотивы его совершенно необъяснимы. В общем, я поступил безнравственно и осознаю это.

Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы. Но обиженный в свою очередь обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы недавнюю историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд – не менее безнравственно, вот ведь в чем дело.

Время от времени нам назидательно повторяют, что демократия – это не вседозволенность, а рынок – не базар. Сами знаем, что не базар, – за базар надо отвечать. А еще говорят: вот почему тебе можно, а другим нельзя? Почему, и другим можно, говоришь ты. Да другим такая глупость и в голову не взбредет, говорят тебе. А мне вот взбрела, говоришь ты, и на тебя обижаются.

Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: «Я хочу серьезно с вами поговорить». Сердце матери тревожно дрогнуло. «Дело в том, – сказала завуч, – что ваш Саша на переменках громко кукарекает». Слово «кукарекает» она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло. «Ну и что такого? – спросила легкомысленная мамаша, – на переменках же». «Вот это мне нравится! – дидактично воскликнула завуч. – Как это „ну и что“! А если завтра вся школа закукарекает?» Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. «Ничего смешного я тут не вижу, – строго сказала педагогический работник. – Это вовсе не смешно». Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.

Но что правда, то правда – границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры, о границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну, и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.

[Слово] Власть картинки

В начале, как известно, было слово. Оно было и потом. И было оно очень долго. Особенно долго оно было в России – и в досоветской, и в советской. Россия всегда считалась – и по праву – страной вербальной, литературоцентричной. Побеждал тот, кто знал «слово». Или умел убедить других, будто он его знает. Или мог заставить в это поверить с явной помощью тайной полиции. Короче говоря, любая власть стремилась оседлать язык и установить над ним свой полный контроль. Язык, впрочем, коварно мстил своим домогателям, выставляя на всеобщее осмеяние то, как именно власть им «владеет».

Сила коммунистической идеологии заключалась в ее заклинательном ритуальном многословии, каковое с лихвой компенсировало сущностную недостаточность.

Но начиная с какого-то времени это же неуклюжее многословие стало ее слабостью, и слабостью роковой, ибо она, эта неподъемная риторика, и стала той

грудой битого кирпича, под которой система сама себя и погребла.

Традиционный российско-советский утопизм отражался в названиях всяческих судьбоносных документов. То Проект устава, то Проект Конституции, то Программа КПСС, то Продовольственная программа, появившаяся на пике тотального дефицита и призванная, по горькому наблюдению шутников, заменить собою само продовольствие. Тогда же появился анекдот про ресторан, дежурным блюдом которого была «вырезка из Продовольственной программы».

Советский космос был характерен кроме всего прочего еще и тем, что слова в нем начисто заменяли собою реальность. И чем в большей степени эта особенность стала заметна не вооруженному «самой передовой идеологией» взгляду, тем больше и больше власть впадала в склеротическую болтовню, навязчиво вовлекая в эту болтовню и граждан, обязанных не только терпеть вокруг себя груды полых знаков, но и «изучать» их на всевозможных политинформациях и прочих «занятиях в системе политпросвещения».

Бал правила всеильная вербальность, недаром же с особой заботой партия и правительство относились именно к литературе, щедро награждая «подлинных мастеров слова» и последовательно гнобя тех, с кем «нам не пути». Визуальность же была в полном загоне, даром что чуткий к веяниям времени Никита Сергеич своими дружескими беседами с «пидорасами» несколько приподнял престиж художественной профессии.

Визуальность воспринималась как вещь подозрительная и ассоциировалась с не менее подозрительным миром моды, рекламы и всего не очень «нашего». Все визуальное, включая живопись, кино, телевизор и обложки «Огонька» и «Работницы», служило лишь иллюстрацией к важному и значительному «Слову».

Но парадокс состоял в том, что затаенная общественная тоска по визуальности привела к тому, что идеологические формулы и лозунги, содержательная пустота которых становилась все очевидней и очевидней, стали восприниматься многими именно как визуальные объекты. Это были не фразы и даже не слова, которые что-то означают. Это был даже не набор слов, это был уже набор букв. Характерный анекдот того времени: «Вопрос. Что такое КПСС? Ответ. Совокупность глухих согласных». На этом визуальном восприятии вербального произросли такие художественные движения, как московский концептуализм и соц-арт.

Теперь в политику въехало иное поколение, поколение, выросшее, если говорить просто, не на словах, а на картинках. Победила вербальность. Но победила не «картина», а именно «картинка». И если прежде картинка служила иллюстрацией к слову, то теперь слово служит иллюстрацией к картинке.

Роль, которую прежде выполнял агитпроп, теперь выполняет реклама. А реклама построена не на убеждении или доказательстве, а на квазиконстатации квазифакта. Вот что такое в самом деле означает «Новое поколение выбирает пепси»? Успешность рекламных технологий зависит лишь от степени

агрессивности, с какой она «продвигает бренд». Какой угодно – хоть «бренд собачий».

Про нынешнюю власть принято говорить, что она испытывает острый дефицит идеологии. А по-моему, никакая идеология им не нужна. Зачем?

У нас есть план, говорят они на бегу. Какой план? Ну тот самый, который, вроде как смерть Кощея, на конце иглы, которая в яйце, которое в утке, которая в зайце, который в волке, который в медведе, который в Кремле. Да и какая вам разница! Все равно ведь ничего не поймете. И то верно, план так план, проголосуем за план, – облегченно говорит обыватель, благодарный уже за то, что его не заставляют, как в прежние времена, этот самый план где-нибудь «изучать».

Основанная на визуально-рекламных технологиях девербализация как принцип политического манипулирования легитимировала полное, принципиальное и вполне демонстративное бесстыдство, понимаемое как новое слово в социальной риторике. Но это не бесстыдство в устаревшем понимании этого слова. Понятия стыда и бесстыдства были важными элементами вербальной цивилизации. Бесстыдство было всегда. И более или менее всегда торжествовало. Но оно с разной степенью успешности прикидывалось стыдом. Не зря же КПСС был по самоопределению умом, честью и – заметьте – совестью нашей эпохи. Нынешнее бесстыдство – это такой стыд. Конвенциональный, корпоративный.

Эти, новые, как бы честнее. То есть не честнее, конечно, – слово «честность» может быть применима к ним со слишком серьезными оговорками, – а, скажем так, откровеннее. В этом вневербальном простодушии их сила. Кто из советских начальников посмел бы где-нибудь кроме закрытой цековской спецбани ляпнуть что-нибудь про «чекистский крюк»? А эти – могут. Вполне открыто и без всяких особых неловкостей. Чего стесняться-то? Все свои. А кто не свои, те вообще чужие, с которыми, кстати, давно пора разобраться. И если бы не наша всем известная доброта, то уж и давно бы...

На дискуссионном поле они практически неуязвимы. Вот они придумали, допустим, способы интерпретации истории, представляя историю такой, какая им нужна в данный момент. Апелляция к мировому опыту? Не канает – у нас собственный путь. Подтасовка исторических фактов? Да, мы вольно трактуем историю. Но того хочет народ – он изнемог от обличений и не хочет ни в чем каяться. Кто такой Сталин? Сталин – это успешный бренд. А вы, небось, думали, что это такой был изверг? Ну, был, и что с того. Зато успешный. Мы, кстати, тоже успешные. Что за такая экзотическая риторика, являющая собой убойную смесь из коммуно-имперской и православно-фашизоидной составляющих? А это такой тренд, скажут тебе, не путайте с брендом. А почему в вашей риторике, спросишь ты, все ключевые слова в лучшем случае не означают ничего, а в худшем – означают вещи буквально противоположные словарным значениям. Почему, например, у вас те, для кого человек важнее государства, называются

фашистами, а те, кто органически не выносит никакого инакомыслия, называются «истинными демократами»? А вот потому, убедительно ответят тебе, что это так и есть. А так есть потому, что у такой точки зрения высокий рейтинг. И вообще, скажут тебе, не надо принимать все так близко к сердцу, мы все-таки живем в XXI веке и словам не придаем такого уж значения, как раньше. Так не только мы, возразишь ты, живем в XXI веке, но и другие тоже. А вот этого не надо, скажут тебе и нахмурятся, кому не нравится – пусть к этим своим «другим» и отправляются – чемодан, как говорится, вокзал.

Не надо задавать им «вербальных» вопросов, если не хочешь, чтобы эти вопросы безвольно повисали в воздухе, как сопля на заборе. Ответы надо, как всегда, искать самим.

[Современное искусство] Спор музействующих субъектов

То, что из Третьяковки выгнали Андрея Ерофеева, создавшего уникальный отдел новейших течений, весьма печально, но не трагично. В смысле не трагично ни для него, ни для художников, чьи работы собраны в единую коллекцию талантливым и компетентным куратором. С ними со всеми все будет в порядке. И с современным искусством все будет в полном порядке. И уже все в порядке.

Всякого рода и ранга гнобителям никогда не приходит в голову, что успех-неуспех художника если и зависит от них, то зависимость эта носит обратно пропорциональный характер. Так было в истории искусств тысячи раз, так будет и дальше. И незачем вновь и вновь вспоминать о хрестоматийных сюжетах вроде знаменитого хрущевского искусствоведения или бульдозерной экспертизы. И незачем лишний раз напоминать, чьими победами неизменно и неизбежно заканчиваются подобные сражения. Все, кому это хоть как-то интересно, всё помнят и всё знают.

Так что это вовсе не трагично – но это симптоматично. Это свидетельствует не о состоянии художественного творчества или музейного дела в нашей стране, а о нравственном состоянии общества.

Я не имею возможности судить об истории с изгнанием Ерофеева, так сказать, изнутри. Я, как говорится, за что покупаю, за то и продаю. Ерофеев выдвигает одну версию происшедшего, музейное начальство – другую. Руководство музея говорит, что тут нет никакой идеологической подоплеки, а дело все в том, что Андрей Ерофеев плохо справлялся с работой, нарушал какие-то музейные нормы и правила, принимал какие-то не согласованные с руководством решения и всякое прочее. И хотя мне по ряду субъективных причин ближе позиция Андрея, я допускаю, что какая-то правота была и в действиях музейного руководства.

Можно ли считать это самое увольнение лишь следствием спора «музействующих субъектов», а не социальным заказом? Можно, разумеется, –

ведь, вообще говоря, лучше избегать конспирологической логики, где все неизвестное объявляется давно и хорошо известным, а все непонятное трактуется исключительно в категориях заговоров и подкопов.

Можно. Но не получается. Никак не получается считать случайным совпадением то обстоятельство, что увольнение нерадивого сотрудника случилось ровно в тот исторический момент, когда упомянутый сотрудник находится под следствием вместе с директором Сахаровского центра Юрием Самодуровым.

Никак не получается считать чистым совпадением, что недисциплинированный сотрудник музея окончательно вывел из ангельского терпения свое лояльнейшее руководство именно в тот период отечественной истории, когда тупое и агрессивное мракобесие, столь же пышно, сколь и конъюнктурно именуящее себя «православно-патриотической общественностью», с помощью палок, хоругвей, заполошных теток с поджатыми губами, благостных отроков с военной выправкой и прочих таганских судов мрачно пыхтящей свиньей пошло на саму современность.

Понятно, что в качестве объекта, как всегда, выбрано искусство, кажущееся мракобесам и идиотам всех времен и народов самой легкой добычей. Зря им это кажется, как показывает исторический опыт человечества.

А теперь у нас что? Теперь у нас уже не подрыв социалистических устоев, не протаскивание под видом так называемого искусства чуждой нашему народу буржуазной идеологии, не дегенеративное искусство, отравляющее своими космополитическими ядами здоровый арийский дух нации, и даже не жалкие потуги горстки возомнивших о себе шарлатанов навязать нашему обществу... ну и так далее. Теперь другое. Теперь – «возбуждение вражды».

Искусство возбуждает вражду. Это что-то новенькое.

То есть наоборот – как раз очень старенькое. Это что-то из тех времен, когда искусство, религия, государство не были отделены друг от друга. Когда искусство воспринималось как директива, как руководство к действию. Когда любой жест художника воспринимался как жест либо «за», либо «против». Этого давно нет, очнитесь!

Что касается «возбуждения вражды», то, согласитесь, существует тип людей, в душах которых ничего особенно возбуждать не надо. Они возбуждены всегда и всегда живут во вражде ко всему и ко всем, к себе в том числе. А искусство тут ни при чем. И если и нужна в этом конфликте какая-то экспертиза, то это должна быть экспертиза психиатрическая по отношению к агрессивным мракобесам. Если кто-то им сочувствует, то пусть поможет медикаментозно. Нормального человека (верующего в том числе) не может оскорбить то, что не претендует на его пространство – хоть физическое, хоть душевное или интеллектуальное.

Беда нашей общественной жизни в фатальном неумении многих

разграничивать территории на свои и чужие. Это, видимо, неизбывные последствия советского коллективизма и внушенная многим навязчивая формула «Искусство принадлежит народу». А искусство, между тем, принадлежит народу ничуть не в большей степени, чем, например, нефть, газ и ракеты стратегического назначения.

Художник, вторгающийся в суверенное пространство религии (в церковь, в монастырь, в мечеть, в синагогу, в пагоду), заслуживает безусловного осуждения, в том числе и уголовного. Но и бесцеремонное и агрессивное вторжение в пространство бытования искусства (музей, галерея, выставочный зал), осуществляемое кем бы то ни было, заведомо противозаконно и, соответственно, должно быть осуждено, в том числе и уголовно.

Или говорят о кощунстве. Кощунство как художественный прием, как способ возбуждения в читателе-зрителе разной силы культурного шока (а не вражды) имеет почти столь же древнюю историю, как и само искусство. А вот слова патриарха Алексия о том, что «сегодняшняя скорбь, связанная с годовщиной начала Великой Отечественной войны, разбавляется нашей общей радостью о вчерашней победе российской сборной», никакой не художественный прием, а как раз самое кощунство и есть.

Разумеется, это не осознанное кощунство – это лишь следствие дурного языкового вкуса и пониженной нравственной интуиции. В этих делах никакой сан не спасает, а спасает, как это ни странно, знакомство, хотя бы шапочное, все с тем же современным искусством.

Так что кто в этой ситуации кощунствует и кто возбуждает вражду – еще как посмотреть. Для меня по крайней мере этот вопрос вопросом не является.

Сейчас меня по-настоящему интересует совсем другой вопрос. Мне лично важно и интересно знать, как поведет себя в этой ситуации арт-сообщество, насколько оно способно осознать свою историческую и гражданскую ответственность. Мне очень интересно, насколько инстинкт самосохранения этого сообщества сильнее инстинкта самосохранения отдельно взятого художника. Мне это очень интересно. И очень важно.

А возвращаясь к началу, хочу повторить, что я не знаю достоверно, почему именно сейчас начальники Третьяковки решили избавиться от одного из своих сотрудников. Но если вдруг дело обстоит так, что ради собственного спокойствия и музейного благолепия было решено осуществить ритуальное жертвоприношение, то это не только непорядочно, но и недальновидно, но и непрактично – следующими будут они сами. Это тоже очень старая история, та самая, которая, увы, редко кого чему-то учит.

[Спорт] Победа над Полтавой

В эти дни о футболе говорят более или менее все, за исключением тех, кто

пребывает в блаженном неведении относительно того, чем отличается вратарь от судьи и почему одним можно хватать мяч руками, а другим нельзя.

Я, хотя и не отношусь к указанной категории граждан и, более того, умею, как мне кажется, отличить хороший футбол от плохого, футболом все же интересуюсь, мягко говоря, не слишком интенсивно, ни за какие команды не болею и не сильно вдохновляюсь бурными и, главное, внезапными воплями, доносящимися время от времени из окон соседних квартир.

Впрочем, такую штуку, как европейский чемпионат, я, когда удается, стараюсь смотреть. Это все-таки футбол, а не просто так. Посмотрел я и российско-шведскую игру.

А за пару дней до этого я прилетел именно что из Швеции, где провел несколько дней в доме своего старинного приятеля. Там тоже смотрели футбол. Естественно, те матчи, где играли шведы. Хозяин – примерно такой же болельщик, как и я, но шведской команде он по понятным причинам отчетливо, хотя и как-то слегка стыдливо симпатизировал. Стыдливость эту я отнес на счет особо понятого гостеприимства: а вдруг гостю из другой страны, тем более из страны-соперницы, его патриотический порыв покажется бестактным.

Впрочем, я, скорее всего, фантазирую – просто он счел, что интеллектуалу не пристало растрачивать, причем публично, свою эмоциональную энергию на такой, в сущности, пустяк, как потная беготня двадцатки пыхтящих мужиков по прямоугольному газону. Так или иначе, но когда шведы выиграли у греков, он явно приободрился, а вот когда шведы проиграли испанцам, отнесся к этому вполне философски.

Мы, понятное дело, не только проводили время у телеэкрана. Мы гуляли по окрестностям, мы ели собственноручно замаринованного хозяином лосося, мы пили привезенную мною из Москвы шведскую водку «Абсолют», мы ели вкуснейшую местную клубнику и много разговаривали. О России, разумеется. Хозяин – драматург, переводчик Чехова, бывший журналист и дипломат, много лет проживший в Москве, а ныне – университетский профессор славистики. Так что о чем нам было еще и говорить, как не о России.

«У вас сегодня, кажется, праздник, – сказал хозяин. – Что это за праздник, я не могу понять?» – «Да я тоже не очень могу понять. Никто особенно не может понять. У нас теперь такие праздники. А в этот день, если мне не изменяет память, Россия объявила о своей независимости». – «Независимости от кого?» – «От СССР. Она как бы вышла из состава Советского Союза». – «Понятно, – сказал хозяин. – Но поскольку здесь, на Западе, СССР и Россия воспринимались всегда как синонимы, то можно сказать, что Россия вышла из себя». Я решил, что для иностранца такой каламбур можно счесть вполне удачным, и предложил выпить, что мы и сделали.

Потом он сказал: «Я давно не был в Москве. Как там теперь?» – «По-разному». – «Ну а если одним словом?» – «Если одним словом, то это слово

„тоска“». – «Но почему?» «Сразу не расскажешь. Приезжай. У нас вообще-то теперь довольно интересно», – не вполне последовательно сказал я, и мы, сказав хором: «Skol», снова выпили по рюмке «Абсолюта».

Потом мы снова заговорили о футболе и вспомнили, что «нашим» командам предстоит скорая встреча. «Наша болельщицко-патриотическая общественность, – говорю я, – в эти дни вдруг дружно вспомнила о Полтаве. А ваша?» Это хозяина страшно развеселило. «Наша? – спросил он. – Ну что ты – здесь не живут страстями трехвековой давности. И вообще давно уже не принято говорить о футболе в военных терминах. Футбол – не битва, а игра. Впрочем, говорят, у нас такие тоже есть. Но их очень мало, и они совсем маргинальны. А собираются они, как это ни смешно, у памятника Карлу XII. А ваши, наверное, просто так шутят?» «Шутят, – не вполне уверенно согласился я. – Но, во-первых, они шутят почему-то именно таким образом, а во-вторых, шутят далеко не все». И мы сказали друг другу волшебное слово «Skol».

А игра российской команды со шведской оказалась честной и красивой.

Пока я смотрел эту игру, я время от времени выбегал на балкон и пунктирно наблюдал за другой игрой. Разнообразной, надо сказать. Интересной. Неровной.

Сначала под балконом прошли три юноши среднеазиатской наружности и с не очень трезвой пластикой, неся российский флаг и крича «Россия, вперед». Когда они скрылись за углом (думаю, что очень вовремя), появились пятеро в тельняшках, выкликающих оптимистичный слоган «Всех порвем на х..!» Когда они поравнялись с выходящей из магазина теткой с двумя пакетами в руках, один из них ласково поприветствовал ее: «Бабка, не ссы! Мы впереди всех! Оле-е-е! Оле-оле-оле-ее!» Не знаю, насколько удалось тетке выполнить такого рода сыновний наказ, но, если судить по их не вполне ангелическому облику и стилю социального поведения, легко предположить, что она вполне могла бы и не сдержаться.

Потом, сдирая с себя на ходу всяческие одежды, появилась весьма возбужденная группа вполне взрослого вида мужиков мясницкого типа. Один из них, подбежав к машине, послушно стоявшей на светофоре, с размаху треснул кулаком по ее капоту. Из машины вышел флегматичный водитель, оказавшийся еще раза в полтора крупнее владельца кулака, и своим кулаком деловито и абсолютно молча двинул того по кумполу. «Шведы – лохи и пидорасы!» – удержавшись каким-то образом на ногах, проорал в сторону отъезжающей машины обиженный в своих лучших чувствах ушибленный.

Ну и петарды само собой. Одним словом, как сообщили наутро многие средства массовой информации, происходило стихийное народное ликование. Именно оно и происходило. Как умело, так и происходило.

А прекрасно и, я бы сказал, по-взрослому сыгравшие свою игру футболисты никак не виноваты в том, что у них попадают и такие именно болельщики, которые все больше не про футбол, а про поднятие с колен и про «всех порвем».

Ну и про «Полтаву», разумеется. И это в XXI веке. Впрочем, это в современном мире XXI век, а у кого-то и XVIII еще толком не наступил.

А футбол, повторяю, был отличный – современный, артистичный и свободный. И футболисты именно что играли, а не воевали. И победа их была совершенно заслуженной. Потому что не было в игре никакого «часовым ты поставлен у ворот», никто, слава богу, не представлял себе, что за ним «полоса пограничная идет», и не было там никакой «Полтавы». Это была победа не «под Полтавой», а «над Полтавой», и это было удивительно и оптимистично. Это была, возможно, временная, возможно, случайная, но все же победа.

А уж о том, кто эту честную победу обязательно присвоит, что говорить? Понятно, кто. Те, кто и всегда узурпирует все чужие победы.

[Сталин] Дункаль

Мне только что исполнилось шесть лет, когда однажды я услышал по радио душераздирающую музыку и скорбный голос Левитана. Потом я увидел плачущих маму, бабушку, соседок. Позже мама объясняла, что плакали они не столько от горя, сколько от ужаса. Что будет со страной, что будет с нами? Оторвалась та пуговица, на которую застегивались человеческие судьбы, судьбы страны, судьбы мира. Теперь начнется террор, теперь начнется война. Начнется хаос.

А до этого было счастье. Всеобщее, напряженное истерически взвинченное счастье при полном отсутствии покоя и воли. Великая формула Пушкина работала тогда в обратном порядке.

Счастье это было такого накала, что его острые осколки успели окорять – к счастью, неглубоко – и мою нежную кожу. Когда я просыпался под звучащие из радио стихи о том, что «каждый день и каждый час Сталин думает о нас», я был безмерно счастлив. Я был счастлив: моя судьба сложилась так, что я родился в самой великой и самой справедливой стране на свете, а ведь мог бы родиться и жить в какой-нибудь кошмарной Америке, сплошь покрытой хижинами дяди Тома.

Для поколения моих родителей пик счастья пришелся на середину–конец 30-х годов. Мама много лет спустя рассказывала мне про это самое счастье. Еще бы не счастье, говорила она, кинофильм «Волга-Волга», Чкалов, Лебедев-Кумач, «Дети капитана Гранта», мороженое, фонтан «Дружба народов», сама дружба народов. Они молоды и влюблены. Они живут в тесноте, но не в обиде. Они танцуют фокстрот и танго «Брызги шампанского». Они ходят в Художественный театр. Они гуляют по новым гранитным набережным Москвы-реки. А главное, разумеется, это то, что «мы все всё еще живы и всё еще на свободе». Моей семье действительно несказанно повезло: никто не сел и все вернулись с войны.

Известный филолог и писатель Александр Жолковский в одной из своих

мемуарных «виньеток» рассказывает о том, как в 60-е годы он изучал язык сомали. Языком он занимался с сомалийскими студентами, больше тогда было не с кем. Одного из них звали Махмут Дункаль. «Наши занятия начались с того, – пишет Жолковский, – что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит „ядовитое дерево“, а также „герой“. Я сказал, что не вижу этимологической связи. «Ну как же, – пояснил Дункаль, – „убивает много“».

Впрочем, это про язык сомали, который, разумеется, к нам никакого отношения не имеет. А к нам имеет отношение тот непреложный факт, что Сталина любят до сих пор. Любят упорно и страстно. Любят сладостно и угрюмо. Яростно и нежно. Любят не сердцем или, не дай бог, мозгами, а чем-то куда более надежным – переломанным хребтом, отбитой селезенкой и поротой задницей. Такая любовь крепче.

Нашим нынешним, которые ценят в Сталине «успешного менеджера», вовсе незачем ни ребра крушить, ни почки отбивать. Ну разве что дать время от времени подразмяться затекшему ОМОНу. А так – зачем? Все и без того пуганые-перепуганые. Подсадить публику на иглу византийско-сырьевого величия, закодировать ее смертельным страхом «оранжевой чумы» – и публика твоя.

Публика твоя: успешный менеджер Дункаль еще давно проделал за них всю грязную и великую работу, с помощью лубянско-мичуринско-лысенковских селекционеров выведя превосходную породу единогласно голосующих верноподданных. Они недорого обходятся и очень практичны в эксплуатации, они прекрасно размножаются в неволе, их всегда много, они всегда под рукой, и они никогда не подведут.

Теперь говорить «за» Сталина или «против» него уже поздно. Этот спор имел какой-то смысл в 60-е годы, когда многие факты отечественной истории лишь приоткрывались для обозрения и осознания. Теперь, когда все всё знают, этот разговор не имеет ровно никакого смысла. Для одних Сталин навсегда будет «рябым чертом», вылезшим на белый свет прямо из преисподней. Для других он останется уж если не «величайшим гением всех времен и народов», то как минимум «успешным менеджером», построившим в отдельно взятой одной шестой хорошо охраняемый ГУЛАГ, идейно обеспеченный радостными кинокомедиями и лучезарными речовками, выполненными советскими поэтами и положенными на счастливую – без дураков – музыку не менее советских композиторов. И этих, вторых, не исправит ничего – ни могила, ни мобила, ни Интернет, ни загранпаспорт, ни «Архипелаг ГУЛАГ», ни «Колымские рассказы» – ничего. Потому что Сталин – герой. В самом буквальном, сомалийском смысле этого слова.

Да и вообще давно уже речь идет ни о каком не о Сталине, а всего лишь о «Сталине» – стилизованном герое телесериалов и товарной марке. Или о пыльном портрете дядьки с ржавыми усами, который время от времени в

соответствии с той или иной политконъюнктурой разное начальство вынимает из загашника, чтобы подбодрить одних и шугануть других.

А человеческая тварь по имени Сталин закончила свои земные дни ровно 55 лет тому назад. Его скромная могила находится в самом центре великой столицы великой страны. Желаящий легко ее найдет – далеко ходить не надо.

[Телевидение] Ах, как вкусно!

Мой друг-литератор прислал мне по почте цитатку, выловленную им из газеты, сопроводив ее коротким и выразительным анонсом: «Не слабо!»

Я ознакомился – и вправду не слабо. И даже сильно, я бы сказал. Я поблагодарил друга за доставленную эстетическую радость. Потом мы с ним принялись обсуждать стилистические особенности текста. Сойдясь на том, что текст безусловно энергичен, богат яркими выразительными средствами и, что главное, на редкость убедителен, мы все-таки слегка поспорили о том, к какому из стилей славного прошлого отсылает нас индивидуальная авторская манера, в какой выполнен этот памятник отечественной словесности. Он настаивал на зрелом барокко, я – на маньеризме.

Автор текста, откуда взята цитата, – Владимир Кулистиков, генеральный, между прочим, директор НТВ, один из флагманов отечественного агитпропа новейшей формации, большой человек. И писатель, как вдруг выяснилось, изрядный.

Когда-то, в поздние 70-е годы, годы тотального дефицита и колбасных поездов, около Ярославского вокзала стоял экскурсионный автобус. Из его недр с помощью мощного и хриплого репродуктора на всю площадь гремел голос зазывалы, приглашающего «нас с друзьями на прогулку». Бегло перечислив титульные достопримечательности столицы вроде Кремля и ВДНХ, зазывала говорил: «Приглашаем также посетить универмаг „Москва“. В этом универмаге в каждом отделе что-нибудь есть».

Так и тут. Почти в каждой фразе кулистиковского маленького шедевра «что-нибудь есть». Ну, вот хотя бы: «Сезон для ведущих телеканалов триумфален. Именно через них политический выбор элиты был воспринят и поддержан подавляющим большинством и стал выбором народа. Такая роль не случайна». Надо же! А мы думали, что случайна роль телевизора – единственного для большинства российского населения средства подключения к большому миру.

Дальше, без перерыва: «Наше телевидение, в отличие от скупых европейцев и рецессивных американцев, по-прежнему щедро к зрителю, который (см. статистику) остается с нами, что бы ни каркали сорные птицы Интернета». Тут, как говорится, без комментариев. Запомним все же про сорных птиц Интернета – это, говоря словами другого способного русского литератора, войдет в

поговорку. Я, во всяком случае, беру на вооружение. Спасибо, брат Кулистиков.

Поехали дальше: «Окрестные племена гастарбайтеров выучат русский только за то, что им разговаривает Галкин. Телеартист посильнее Ильича. Тот с последышами разъял империю – Галкин у телеэкранов воссоединил ее».

Ну что тут скажешь – каждое слово высечено золотом на мраморе. Племена гастарбайтеров, а? То-то же. Молчим, завидуем и нервно курим в углу.

Не может не вызвать восторг и сильное утверждение, что нашлись телеартисты и посильнее Ильича, который, как известно, уж таким был телеартистом, что, казалось бы, никто не переплюнет. Ан нет, нашелся-таки всенародный попугай Галкин, культурный герой новейшего времени, который настолько погружен в нелегкий процесс обрусения окрестных племен и в святое дело воссоединения империи, что не может отлучиться с телеэкрана буквально ни на минутку.

И еще там полно всего сугубо высокохудожественного и идеологически выдержанного. Хороший текст, что там говорить.

Когда писателя огорошивают вопросом: «Скажите, зачем вы написали вот это?» – он обычно обижается, и правильно делает. «Как это зачем? – обиженно бубнит он. – Написал, потому что не мог не написать». А что он еще ответит? Что долги за машину надо отдавать? В общем, нельзя задавать писателю таких вопросов. Но что делать, если такой вопрос возникает. У кого-то может возникнуть, например, грубый и бестактный вопрос, все ли у автора в порядке с мозгами.

Я уверен, что у данного конкретного автора с мозгами все в порядке: он прекрасно знает, что он делает и для чего. Вопрос о культурной или социальной вменяемости отпадает. В моем детстве в таких случаях говорили: «Дурак-дурак, а мыла не ест».

Люди, которых метафорично, грубо и не всегда справедливо называют «блядьми», делятся на простодушных и рефлексирующих, нуждающихся в интеллектуальном оправдании собственного блядства.

Надеюсь, читатель не заподозрит, что предыдущее рассуждение имеет какое-то отношение к обсуждаемому автору. Никакого отношения не имеет – так просто, попутное рассуждение. И не знаю, имеет ли отношение к обсуждаемой проблеме и вертящаяся в моей голове цитата из другого автора, не столь, конечно, яркого, но все же неплохого. Чехов Антон Павлович, рассказ «Крыжовник»:

Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, – он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

– Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

– Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой.

И, уж извините, еще одна цитата, оттуда же:

Перемена жизни к лучшему... развивает в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

Впрочем, и это вряд ли имеет к чему-то отношение. Это все было давно, в XIX веке, когда были всякие интеллигентские искания, рефлексy, муки совести и прочая хрень.

Я знаю, что слово «совесть» – из позапрошлого века. Оттуда же, по-видимому, «вкус» – хоть речевой, хоть поведенческий. Знаю, не маленький. Знаю, что все эти глупости, годные только для маленьких детей или на худой конец для отставных библиотекарьш, полное ничто по сравнению с такими смысловыми словами, как, например, «формат» или, пуще того, «рейтинг».

Хорошо, забудем про совесть, вкус и прочую фигню. Повернем проблему другой стороной. А вот вдруг что-то изменится, что будет? А, ребята? Вы же все-таки стратеги как-никак, планировщики своего и – что куда хуже – чужого будущего. Вот что, интересно, будет?

Да ладно, не отвечайте, ответ я знаю и сам. Ничего не будет.

Вы надежно защищены, поскольку у вас давно на том месте, где у некоторых людей все-таки иногда бывает совесть, вырос во-от такой рейтинг. Вы как ни в чем не бывало встряхнетесь, смените один пиджак на другой и опять чего-нибудь такое возглавите. И скажете, что так и было. Мы же, скажете вы, все-таки профессионалы, а не какие-нибудь сорные птицы. Нам и карты в руки.

Все с вами в порядке, ребята, я знаю. Только все-таки в своем самозабвении вспоминайте хоть изредка о том, что хотя идиотов в стране и мире очень много, но не все все-таки, не все.

И вовсе не все, кто, вопреки вашим бессонным трудам, решительно не желает быть идиотом, такие уж прямо сорные птицы. И не тешьте свои форматы тем, что мир делится лишь на успешных правильных пацанов и отстойных лузеров. Мир сложнее, ребята.

[Терпимость] Нет, ты нарочно!

Тема непростая, что и говорить. Кто на что может обидеться, не всегда понятно. В том смысле, что кто очень захочет обидеться, он причину найдет.

Я вот недавно ехал в метро и очень спешил. Спеша, я невзначай толкнул какого-то мужчину. Толкнув его, я тотчас же извинился. Но одновременно с моими извинениями последовал ощутимый удар кулаком по моей спине. «Вы чего это?» – ошарашенно спросил я. «А ты чего толкаешься?» – «Так я же извинился!» – «А мне-то что, что ты извинился!» – «Так я же не нарочно!» – «Нет, ты нарочно!» Исчерпав запас аргументов, я пошел себе восвояси.

Я так думаю, что обижаться резонно лишь на то и на тех, кто обижает тебя сознательно. На неловкость или бестактность обижаться неправильно – это непрактично и глупо. И вообще – чем уверенней человек в своей правоте, тем в меньшей степени он подвержен обидчивости. О различии культур и традиций тоже нельзя забывать. Вот, допустим, слово в каком-нибудь языке означает что-то вроде святости или добродетели, но звучит оно так, что на другом языке означает что-нибудь очень неприличное и оскорбляющее чье-нибудь национальное чувство. Что тут делать? Изображать Пророка, тем более в шутейном контексте, есть тяжкий грех в исламской традиции. А в христианской – нет. По крайней мере с некоторых пор. А есть еще и атеистические традиции, и они тоже завоевали себе право на существование.

Ну, нарисовал какой-то варяжский шутник пару-тройку картинок (не очень, кстати, искрометных) да опубликовал все это дело в какой-то там местной газете. И что? И кто бы это заметил, если бы не крики обиженных.

И пошло-поехало. Обиженные грозят и бряцают, требуя извинений и санкций. Требуя приструнить и наказать. Обиженные на обиженных назло им перепечатаывают в своих газетах эти картинки, отстаивая таким образом свои права на свободу. Тоже вроде бы глуповато. Но такая реакция мне лично понятнее и ближе. Мне понятно, что люди, чьи профессия и образ жизни связаны с говорением, писанием, рисованием, пением, фильмосниманием и вообще с высказыванием, склонны к вполне объяснимой нервозности, когда речь заходит о границах творческой свободы. Я не то чтобы оправдываю. Я понимаю. Понимаю, потому что я один из тех, для кого понятие свободы не менее свято, чем для кого-то другого – что-нибудь другое.

Но говорят: область религиозных чувств – вещь особая. Тут не до шуток. Почему особая? Почему не до шуток? «В доме повешенного о веревке» – это мне понятно. А тут чего? Болезненная, в смысле, тема? А почему она болезненная? То есть я понимаю, что тема эта может быть весьма болезненной для тех, кто не очень-то верит. А если очень, то тогда почему?

Я человек нерелигиозный. Но мне кажется, что если бы я им был, то

рассуждал бы примерно так. Вот человек сказал, нарисовал, напел что-то такое, что по тем или иным причинам оскорбляет мои религиозные чувства. Да, он святотатствует и богохульствует. Но ведь он же дитя неразумное, несчастный язычник, не знающий и не понимающий того, что знаю и понимаю я. У меня есть вера, и я счастлив. У него веры нет, и он убог и обделен. И я бы помолился за него и за его заблудшую душу, ибо не ведает, что творит. А уж если он и достоин наказания, то я, как верующий человек, знаю твердо: наказать его есть кому и без меня.

[Толпа] Парад невидимок

О «Наших» как об арифметической сумме физических лиц сказать особенно нечего. Такие особи, принципиально и демонстративно лишённые персональных признаков, каких бы то ни было зачатков рефлексии, не мыслящие своего социального существования вне коллективного тела, были всегда, сколько я себя помню. В разные времена они по-разному назывались, но были пригодны для какого-нибудь государственно важного дела только в очень товарных количествах. Друг от друга они могут отличаться лишь как яйца за девяносто копеек от яиц по рупь тридцать. Дело вообще не в них и не в каких-то там особенных мотивах их такого или сякого социального поведения, ибо никаких мотивов. Я даже легко допускаю их материальное бескорыстие. Ну, не чтобы совсем, но радуются они любому пустяку – кепочке, футболочке, значочку, баночке пивка. Ну, зачет автоматом поставят. Ну, дадут пару дней отгула. Да разве ж это корысть? Много ли в корыте корысти, как справедливо говорила неугомонная старуха из известной сказки А.С. Пушкина.

Короче говоря, дело не в них. Дело в их, с позволения сказать, идеологах-теоретиках, демонстрирующих в свою очередь идиотизм такого накала, что у человека нормального, хотя бы шапочно знакомого с азами формальной логики, закрадывается подозрение в какой-то глубоко упрямой гениальности, каковая просто не может быть по достоинству оценена современниками. Ну, правда – не могут же люди на голубом глазу выдавать такое на всеобщее обозрение. Ну, с «Нашими»-то все понятно: этому безмозглому поголовью что песенка про крокодила Гену, что «Пионер – всем ребятам пример», что «Правозащитник = террорист» – один хрен. Главное – не вдумываться в смысл произносимых слов. Да что я говорю – «вдумываться»! Чем там особенно вдумываться-то.

Дело, повторяю еще раз, не в этих ребятах. А дело в том, что этот беспримесный агитпроповский кретинизм – небезопасен. Как небезопасно все то, что свободно от логики и историзма. Как небезопасно все, что свою полную недиалогоспособность легко компенсирует шумом, треском и тысячекратно тиражируемым портретом.

Мне понравились анкеты, распространяемые «Нашими» во время их недавней тусовки. «Вы согласны с мнением, что в случае устранения Путина или отхода от его курса в стране наступят „смутные времена“, власть захватят ставленники Запада и экстремисты?» Прелесть что такое. Вопрос, заключающий в себе ответ, – вообще риторически сильная вещь. Когда-то художник и поэт Вагрич Бахчанян сочинил серию очень смешных как бы загадок. Назывались они «Загадки для идиотов». Там, например, были такие загадки: «Стеклянный маленький сосуд. Быть может, чай в него нальют». Или: «На Красной площади стоит. Там кое-кто в гробу лежит». Потом он решил, что уж если эти загадки «для идиотов», так надо быть еще последовательней и отгадку попросту включать в саму загадку по принципу «по горам по долам ходит баран». В анкетах «Наших» повсюду «ходят бараны».

Неплох также вопрос: «Вы исключаете возможность переворота и интервенции по инициативе, например, бывшего премьера Касьянова, под предлогом ввода миротворческих сил НАТО для охраны ядерных объектов и нефте-, газопроводов?» Трогательно, как и всякая наивная провокация, смотрится там это «например».

Прочитав об этом, я даже пожалел, что не оказался среди опрашиваемых. Хоть и маленьким, но все же удовольствием было бы сообщить какого-нибудь придурочному «связному президента», что тот, кто придумал эти вопросы, есть мелкий провокатор и безграмотная беспринципная вонючка.

А еще они предлагали сделать выбор между «сильной Россией и колонией Запада». Прелесть, правда? Третьего ведь не дано по определению, не правда ли? Но чтобы эта загадка выглядела совсем «загадкой для идиотов», последовало пояснение: «В 1991 году мы позволили развалить великую державу Советский Союз и превратились в нищую страну, утратившую свое достоинство. В 2007/08 году на выборах Госдумы и Президента нам предстоит определиться: сохранить преемственность курса Путина на сильную Россию или стать сырьевой колонией Запада».

Вот тут интересно, что об этом думает сам президент, на плечи которого, получается, возложена миссия собрать «великую державу Советский Союз»? Или он об этом ничего не знает и поэтому продолжает говорить о незыблемости российской конституции? В конституции что-нибудь сказано о восстановлении «великой державы Советского Союза»? Я не видел.

Эта риторика, основанная на подмене всех и всяческих понятий, смешиваний всего со всем и полной безответственности за сказанное, не нова. Долгое время этим вполне успешно пользовался главный либерал-демократ Жириновский. Но по сравнению с этими «нашими» даже он – светильник разума и образец высокой морали. Да и все, что он придумал, он придумал все-таки сам.

Они опасны. Они опаснее «имперцев» с их оперной эстетикой и музейной риторикой. Они опаснее, чем обвешанные елочными побрякушками

фольклорные казачки. Они опаснее даже тех, кто откровенно играет с нацистской атрибутикой и соответствующим образом вскидывает руку в приветствии. Те отвратительны, потому что... ну, понятно почему. Но они менее опасны, потому что стилизованы под прошлое, а прошлое не возвращается. А если и возвращается, то всегда в другом обличье.

То, что стоит за толпой «Наших», опасно своей крошечной пустотой. Оно опасно, как опасен газ, не имеющий запаха. Оно опасно, как толпа непредсказуемых невидимок. Вам хотелось бы столкнуться с толпой невидимок? Мне – нет.

[Чувство вины] Простая история

В последнее время усиленно заговорили про историю. То есть не про историю как таковую, а про то, как эту историю преподавать пытливному юношеству. Самая же тонкая материя, как это всегда бывает, – это история новейшая. А где тонко... ну и так далее.

И правда: как же человеку и гражданину обойтись без истории? Не зря же еще в середине позапрошлого века великий, хотя и исторически мнимый провидец Козьма Прутков вопрошал: «Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история?»

Похоже, что история нынче наступает. Давно замечено, что чем в меньшей степени нам «дается благодать» в виде непосредственного, можно даже сказать, чувственного ощущения живой истории, тем большую роль начинает играть история в виде учебника истории. История заменяется учебником. Когда творится настоящая история, учебник помалкивает подобно музам, замолкающим при первых же звуках артиллерийской канонады. Такое было на моей памяти несколько раз. Первый раз тогда, когда в 1956-м, то есть в том году, когда мой брат заканчивал школу, был вообще отменен выпускной экзамен по истории. Судите сами: какая может быть история сразу же после XX съезда? Надо ли говорить о степени ликования, охватившего жадное до знаний юношество?

Потом начальство оправилось от шока, и история в виде школьных учебников вошла в свои берега.

Я пошел в школу в середине 50-х. С одной стороны, на дворе бушевала реальная история. Но и липкое эхо еще совсем недавней борьбы с космополитизмом и «России – родины слонов» еще отчетливо звучало в ушах. Из первого же абзаца первого в моей жизни учебника истории я узнал, что «наши далекие предки были славяне». Моя соседка по парте, смешливая толстушка Манукян, шепнула мне: «А мой дедушка что-то другое рассказывал». Мне дедушка ничего на этот счет не сообщал, да и не было уже в живых ни одного из моих дедушек, поэтому эту версию я принял как ни к чему не обязывающую данность. А уж потом узнал, что история и учебник истории – это, мягко говоря,

не одно и то же.

О взаимосвязи текущей политической ситуации и той или иной степени сервильности учебных курсов истории не имеет смысла особо распространяться. Да и не вчера, и даже не позавчера эта взаимосвязь установилась. Когда в школах Франции при Наполеоне III в программу ввели курс современной истории, братья Гонкуры в своем дневнике записали: «Угодничество сделано предметом школьного обучения». С тех пор во Франции, как и во всей Европе, очень многое изменилось.

Но это во Франции. И во всей Европе.

У нас тоже многое изменилось. Ушли в далекое прошлое марксистско-ленинские клише. Никакого «пролетарского интернационализма», никакого «социалистического гуманизма», никакого «построения бесклассового общества в одной отдельно взятой» – никакой такой хренотени нам теперь не надо, обойдемся и так.

Перечитав предыдущий абзац, я обнаружил забавную опечатку. Слово «бесклассовый» я набрал без буквы «л». «Бескассовым» получилось наше прежнее, отдельно взятое общество. Теперь наше общество сделалось вполне «кассовым», оставаясь при этом «отдельно взятым», то есть в данном случае «суверенным». И в полном соответствии со старинной сталинской доктриной обострение «кассовой» борьбы находится в прямой пропорциональной связи с фактором «отдельновзятости».

Вот и история теперь понадобилась отдельно взятая, а не та, космополитическая и «общечеловеческая», которая – на иностранные гранты.

Главное – это чтобы что? Это чтобы вытравлять из россиян чувство вины. Так примерно и сказано.

Каким образом увязывается тотальное отрицание чувства вины с экспансией церковно-православного влияния на жизнь общества – вопрос интересный, но не очень. А главное – неразрешимый. В отдельно взятых государствах такое бывает.

А то, что чувство вины – вредное чувство, это правильно, что и говорить. Ведь если его не вытравишь из общественного сознания – в каком сознании, заметим попутно, этого самого чувства вины что-то не было сильно заметно и прежде, – то, глядишь, и общество ни с того ни с сего начнет подумывать о том, что чистые руки, горячие сердца и холодные головы его богом данного руководства не так уж стерильно чисты, не столь уж горячи и холодны. Не надо такого внушать обществу, вы чего ваще.

А надо внушать обществу нормальную прибалтийскую пацанскую этику, где главное – не лохануться, не сознаться, не извиниться, уйти в отказ, в несознанку. Согласно этой этике уступить дорогу, сказать «спасибо», улыбнуться незнакомому на улице, извиниться за то, что наступил кому-то на ногу, – есть признак безнадежного гнилого фраерства.

Наши нынешние не очень уж скрывают своего жульничества и даже им бравируют. Да, мы жулики, дают понять они. А чего – все жулики, кругом одно жулье. Все продается и покупается.

Они ведь не говорят, что не было, допустим, Катыни, боже упаси. Почему не было? Была. Признаваться только не надо. Это не по понятиям. Ты, братан, прикинь: они нам про Молотова-Риббентропа, а мы им про Марину Мнишек. Пусть покрутятся. Латыши нам про оккупацию, а мы им про латышских стрелков. Они нам про права человека, а мы им про Тамерлана. Они нам про XX век, а мы им про II–III–IV до рождества Христова. Нормально? Нормально. Мы же не говорим, что ничего не было. Мы говорим, что не надо в этом признаваться. А то ведь еще и на бабки разведут – им палец в рот не клади.

Бывает, впрочем, иногда чувство вины. То особое чувство вины, какое бывает свойственно очень пьющим людям в периоды похмелий. Особенно их чувство вины обостряется, когда наутро надо обойти всех соседей, которых он еще вчера грозился замочить топором или булавой, нежно поинтересоваться, не обидел ли он вчера кого случайно, и застенчиво попросить трюндель до второго, на поправку. Тогда конечно – чувство вины, и еще какое. Но чуть только такой человек утолит первую жажду, чувство вины сдувает как ветром, уступая место другому чувству – чувству мучительного стыда за свое недавнее чувство вины. «Чего это я! Как этот прям! Чего это я-то виноват? Это они тут все виноваты».

И правда, какое еще чувство вины? Вы чего? Чувство вины – это когда жрать нечего и когда гуманитарная помощь. А вот когда цены на нефть сами знаете какие, то какое такое чувство вины? Мы же вас всех, суки, кормили и освобождали, а вы нас опять на колени, да? Вот когда бабки кончатся и придется опять у вас подзаныть, тогда и про чувство вины поговорим. Нам не впервой. А пока что будем гордиться славными деяниями предков, необъятными просторами, ракетами дальнего действия и скоплением природных газов.

Когда слышишь, читаешь, думаешь про все это, все время приходит на ум замечательно остроумное изречение поэта и художника Вагрича Бахчаняна: «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи».

Вот, собственно, и вся история. Не новейшая и даже не новая, а очень даже старая история. Простая, прямо скажем, история.

[Эклектика] Суд над Евгением Онегиным

Было такое в 20-годы прошедшего века педагогическое поветрие – устраивать суды над теми или иными литературными героями. Это для лучшего закрепления школьного материала. Один такой суд, суд над Евгением Онегиным, был очень симпатично описан в «Двух капитанах» Каверина. Там было все как полагается: обвинитель, защитник, свидетели, судья. Суд, в общем.

Это я к тому, что время от времени кто-то призывает подать в суд на

кого-то, кто пишет и публикует что-нибудь достаточно запредельное вроде того, что убитый сам себя убил, чтобы скомпрометировать доблестные правоохранительные органы, или что женщина сама себе выбила зубы, чтобы привлечь, наконец-то, к себе внимание. Ну, и многое другое пишут, резвяся и играя, эти чудесные особи.

Не надо в суд. Нет смысла. Ибо эти люди вряд ли являются физическими лицами. Они всего лишь персонажи, литературные герои, порожденные нынешней, постмодернистской эпохой. А если у них и обнаруживаются подобия физических лиц, то и располагают эти лица скорее к физическому, чем к юридическому воздействию.

Конечно, персонажи, а кто же еще. В русскую революцию XX века пришли персонажи Достоевского, а дело ее продолжили герои солугубовского «Мелкого беса». Далее «Бесы» все мельчали и мельчали, и мы, как в том анекдоте, постепенно «дое...лись до мышей».

Какие авторы, такие и персонажи. Какая власть, такие у нее мыслители-апологеты, такие у нее агитаторы-горланы-главари. «У меня нету для вас других писателей», помните? И у этих, нынешних, нету для нас других. Но власть и не слишком-то озабочивается на этот предмет. Во-первых, она сама такова, что в ее убогих представлениях это и есть интеллектуальная элита. А во-вторых, зачем? Пипл и не такое хавал.

Короче, и эти сгодятся. А чего стесняться-то? У себя же дома. Да и свобода опять же. Не при совке живем. Марксизма-ленинизма никакого, слава богу, не нужно. Ссылок на решения пятого-десятого съезда-плenums тоже не нужно. Сейчас сляпаем чего-нибудь из смеси всего со всем – того, что слева, с тем, что справа, того, что сверху, с тем, что снизу, того, что спереди, и того, что сзади, советского с антисоветским, космополитического с нацистским, Фукуяму с Мураками и Газманова с Кастанедой. И ведь сожрете, не подавитесь. Да и этого, в общем, не нужно. Ничего не нужно, кроме ленивой и сытой наглости и пятиминутной готовности в любой момент развернуться на сколько угодно градусов.

Вот и замельтешили перед нашими глазами пузыри земли вроде не крупного (если сравнивать, например, с Азефом) провокатора Павловского или какого-нибудь еще выдающегося мыслителя современности наподобие Парке-ра-Кононенко, как по облику, так и по речевым характеристикам больше всего похожего на недоучившегося провинциального гимназиста, исключенного из седьмого класса за посещение веселых домов.

С оппозицией все ясно – оплаченные Соросами и прочими ЦРУ антигосударственные элементы. Государственные же элементы, чьи неподкупные глаза смотрят на нас с телеэкранов, чьи скупые мужественные глаголы жгут сердца людей со страниц свободолобивых газет, никем не оплачены – дико такое не то чтобы сказать, но и помыслить, держат круговую оборону, защищаясь

от хулителей и подстрекателей всего лишь военно-промышленным потенциалом, сырьевым ресурсом и золотовалютным фондом. А больше ничем. А уставши от газет и телевизоров, они, как в бассейн, ныряют в Интернет, где уже резвятся по-взрослому, ни в чем себе не отказывая, так сказать, без галстуков, да и вообще безо всего.

Ну а если, не ровен час, продуют, смущаться не станут. Вы чего, пацаны, это же правила игры. Вы ваще в каком веке живете? Ну, вы, демшиза. Ну, бля, общечеловеки. Ну, вы, грантоеды, либеральные макаки, правозащитники херовы. Ну, вы, пособники и агенты влияния. Вы же, либерал-фашисты, вообще до сих пор на свободе только лишь потому, что мы и наши эти, как это сказать, клиенты такие добрые и либеральные. Ну, вы даете. Вы чего, обиделись, что ли? Да это же понарошку. Виртуальные сражения. Деловые игры. Морской бой. Ведь общее же дело делаем. Мы же тоже хотим, чтобы все было классно и прикольно. Ну, в смысле, чтоб у нас все было. Не слишком ли, скажут мне, резко. Какие бы ни были эти люди, скажут мне, а живых людей обижать не следует. Надо, скажут, цивилизованно дискутировать, а не обзывать. Или в суд, если что. Отвечаю по пунктам. Первое: думаю, не слишком. Второе: живых не следует, согласен. Третье и четвертое: см. начало.

[Язык] Словарный запас

Как давно и хорошо известно, люди, обладающие языковым чутьем и вкусом, по возможности избегают слов, так или иначе присвоенных официальной риторикой, а потому – смертельно зараженных. Но беда в том, что, как только какие-нибудь слова начинают восприниматься культурным сообществом как зараженные и на этом основании исключаются из риторического обихода, тут же появляются другие.

В наши дни в товарных количествах и с довольно тревожным постоянством стали возникать идеологически-языковые ублюдки наподобие «суверенной демократии» или, наоборот, «либерального фашизма». Но даже у ублюдков имеются предки.

Я помню, как в позднесоветские времена мутировали значения некоторых слов. В официальной риторике для обозначения каких-то не существующих в природе явлений стали возникать такие оксюмороны, как, например, «борьба за мир» или «социалистическая законность».

В неофициальном же обиходе абсолютно нейтральное и даже скорее позитивное слово «идейность», призванное обозначать всего лишь приверженность того или иного субъекта той или иной идее, приобрело отчетливо негативные коннотации. Про кого-то говорили: «Да ну его, он какой-то идейный». Это означало нечто вроде того, что в присутствии этого «идейного» рекомендуется говорить только о погоде. По всему получалось, что «идейный» –

это такой беспринципный гад, который ради достижения собственной цели не остановится ни перед чем.

В середине 70-х – не вспомню уже каким образом – меня занесло на собрание баптистской общины. Там сидели на скамеечках люди разных возрастов и полов и пели, держа в руках аккуратные бумажки. Пели, как и полагается, хором, и пели они нечто на мотив популярных советских песен. Стихи же были самопальными и, понятное дело, исключительно духовного содержания. Что-то вроде: «Как люблю я Господа родного. Он дает мне то, что может дать. Он мне шепчет ласковое слово, бережет, как ласковая мать». Прекрасные, высокие слова, ничего не скажешь. Особенно красиво говорил проповедник. Он говорил хорошие и в общем-то вполне бесспорные вещи. Он говорил, что честно жить хорошо, а нечестно – плохо. Ругаться плохо. Мириться хорошо. Особенно он напирал на то, что людей надо любить, потому что Бог – Он как раз и есть любовь. «Любить надо людей, – строго наставлял публику проповедник, – любить надо». Его южнорусский акцент вносил в проповедь элемент слегка пародийный. Его агрессивно-дидактические интонации то ли школьного завуча, то ли прапорщика вгоняли в нечеловеческую тоску. Перекрывая все реально им произносимое, в проповеди слышалось: «А кто к завтраму людей не полюбит, как я учил, тот пусть пеняет на себя. Людей любить надо, поняли? Эй, в третьем ряду, я к кому обращаюсь? А ну повтори!»

С «идейностью» разобрались уже давно. С «гуманизмом», в общем, тоже. Не так давно разделались с «духовностью». Похоже, что навсегда. Про истину-добро-красоту забыть придется лет на пятьдесят. Сегодня у нас на повестке дня «нравственность». За «нравственность» нынче всерьез принялись Госдума, комитеты, подкомитеты, суды, прокуратура, милиция и прочие общественные палаты с народными соборами.

Но кое-что еще есть. Есть, например, такое слово, как «свобода». Сегодня все эти, которые все больше хлопочут по части «нравственности», слово «свобода», как, впрочем, и все оттенки его смысла, ненавидят, презирают и всячески вышучивают. И это прекрасно! И слава богу! Потому что это слово все еще принадлежит нам. Как и сама свобода.

А то ведь, не ровен час, почувют и они вкус к «свободе» да и нас еще возьмутся учить «свободу любить». Тогда – всё. Тогда «век свободы не видать». И без того уже нормальных, человеческих слов становится все меньше и меньше. И недалек уже тот час, когда в нормальном человеческом общении что-либо конкретное смогут означать лишь те слова и выражения, которые на сегодняшний день входят, увы, в решительное, чреватое судебными издержками противоречие с нравственностью, духовностью, истиной, добром, красотой и всеми прочими прекрасными и ужасными словами.